

Спасибо, что скачали книгу на сайте swan-swan.ru/knigi

Мы предлагаем для скачивания книги, которые признаны общественным достоянием и не нарушают авторские права.

Приятного чтения!

С уважением, коллектив swan-swan.ru

Маркус Зусак Книжный вор

Мировая пресса о романе «Книжный вор»

«Книжного вора» будут превозносить за дерзость автора... Книгу будут читать повсюду и восхищаться, поскольку в ней рассказывается история, в которой книги становятся сокровищами. А с этим не поспоришь.

New York Times

«Книжный вор» берedit душу. Это несентиментальная книга, но глубоко поэтичная. Ее мрачность и сама трагедия пропускаются сквозь читателя, будто черно-белое кино, из которого украдены краски. Зусаку, быть может, и не довелось жить под пятой фашизма, но его роман заслуживает места на полке рядом с «Дневником Анны Франк» и «Ночью» Эли Визеля. Похоже, роман неизбежно станет классикой.

USA Today

Зусак ничего не подслащивает, но ощутимую мрачность его романа можно вынести так же, как «Бойню номер 5» Курта Воннегута – здесь тоже как-то сурово утешает чувство юмора.

Time Magazine

Элегантная, философская и трогательная книга. Прекрасная и очень важная.

Kirkus Reviews

Этот увесистый том – немалое литературное достижение. «Книжный вор» бросает вызов всем нам.

Publisher's Weekly

Роман Зусака – туго натянутый трос канатоходца, сплетенный из эмоциональной пластичности и изобретательности.

The Australian

Триумф писательской дисциплины... один из самых необычных и убедительных австралийских романов нового времени.

The Age

Стремительная, поэтичная и великолепно написанная сказка.

Daily Telegraph

Литературная жемчужина.

Good Reading

Блистательная причудливая сказка. Превосходная книга, которую вы будете рекомендовать всем, кого встретите.

Herald-Sun

Блестяще и амбициозно... Такие книги способны изменить жизнь, потому что, не отрицая внутренне присущей аморальности и случайности естественного порядка вещей, «Книжный вор» предлагает нам с таким трудом завоеванную надежду. А она непобедима даже в нищете, войне и насилии. Юным читателям нужны такие альтернативы идеологическим догматам и такие открытия важности слов и книг. Да и взрослым они не помешают.

The New York Times Review of Books

Одна из самых долгожданных книг последних лет.

The Wall Street Journal

Эта книга действует на читателя, как графический роман.

The Philadelphia Inquirer

Изумительно написанная и населенная запоминающимися героями, книга Зусака – пронзительная дань словам, книгам и силе человеческого духа. Этот роман можно не только читать – в нем стоит поселиться.

The Horn Book Magazine

Маркус Зусак создал произведение, заслуживающее самого пристального внимания не только изощренных подростков, но и взрослых, – гипнотическую и оригинальную историю, написанную поэтическим языком, который заставляет читателей упиваться каждой строкой, даже если действие неумолимо тащит их вперед. Необычайное повествование.

School Library Journal

Подростков толщина книги, ее темы и подход автора могут, пожалуй, отпугнуть, но книга несомненно увлекает своим вдохновенным повествованием.

Эта история разобьет сердце как подросткам, так и взрослым.

Bookmarks Magazine

Потрясающие людские характеры, выписанные без лишней сентиментальности, хватают читателя за душу.

Booklist

Элизабет и Хельмуту Зусакам с любовью и восхищением

ПРОЛОГ
ГОРНЫЙ ХРЕБЕТ ИЗ БИТОГО КАМНЯ
где наш рассказчик представляет:
себя – краски – и книжную воришку

СМЕРТЬ И ШОКОЛАД

Сначала краски.
 Потом люди.
 Так я обычно вижу мир.
 Или, по крайней мере, пытаюсь.

***** ВОТ МАЛЕНЬКИЙ ФАКТ *****
Когда-нибудь вы умрете.

Ни капли не кривлю душой: я стараюсь подходить к этой теме легко, хотя большинство людей отказывается мне верить, сколько бы я ни возмущался. Прошу вас, поверьте. Я еще *как* умею быть легким. Умею быть дружелюбным. Доброжелательным. Душевным. И это на одну букву Д. Вот только не просите меня быть милым. Это не ко мне.

***** РЕАКЦИЯ НА *****
ВЫШЕПРИВЕДЕННЫЙ ФАКТ
Это вас беспокоит?
Призываю вас – не бойтесь.
Я всего лишь справедлив.

Ах да, представиться.
 Для начала.
 Где мои манеры?

Я мог бы представиться по всем правилам, но ведь в этом нет никакой необходимости. Вы узнаете меня вполне близко и довольно скоро – при всем разнообразии вариантов. Достаточно сказать, что в какой-то день и час я со всем радушием встану над вами. На руках у меня будет ваша душа. На плече у меня будет сидеть какая-нибудь краска. Я осторожно понесу вас прочь.

В эту минуту вы будете где-то лежать (я редко застаю человека на ногах). Тело

застынет на вас коркой. Возможно, это случится неожиданно, в воздухе разбрызгается крик. А после этого я услышу только одно – собственное дыхание и звук запаха, звук моих шагов.

Вопрос в том, какими красками будет все раскрашено в ту минуту, когда я приду за вами. О чем будет говорить небо?

Лично я люблю шоколадное. Небо цвета темного, темного шоколада. Говорят, этот цвет мне к лицу. Впрочем, я стараюсь наслаждаться всеми красками, которые вижу, – всем спектром. Миллиард вкусов или около того, и нет двух одинаковых – и небо, которое я медленно впитываю. Все это сглаживает острые края моего бремени. Помогает расслабиться.

*** НЕБОЛЬШАЯ ТЕОРИЯ ***

**Люди замечают краски дня только при его рождении
и угасании, но я отчетливо вижу, что всякий день
с каждой проходящей секундой протекает
сквозь мириады оттенков и интонаций.**

**Единственный час может состоять из тысяч разных красок.
Восковатые желтые, синие с облачными плевками.
Грязные сумраки. У меня такая работа,
что я взял за правило их замечать.**

На это я и намекаю: меня выручает одно умение – отвлекаться. Это спасает мой разум. И помогает управляться – учитывая, сколь долго я исполняю эту работу. Сможет ли хоть кто-нибудь меня заменить – вот в чем вопрос. Кто займет мое место, пока я провожу отпуск в каком-нибудь из ваших стандартных курортных мест, будь оно пляжной или горнолыжной разновидности? Ответ ясен – никто, и это подвигло меня к сознательному и добровольному решению: отпуском мне будут отвлечения. Нечего и говорить, что это отпуск по кусочкам. Отпуск в красках.

И все равно не исключено, что кто-то из вас может спросить: зачем ему вообще нужен отпуск? *От чего* ему нужно отвлекаться?

Это будет второй мой пункт.

Оставшиеся люди.

Выжившие.

Это на них я не могу смотреть, хотя во многих случаях все-таки не удерживаюсь. Я намеренно высматриваю краски, чтобы отвлечь мысли от живых, но время от времени приходится замечать тех, кто остается, – раздавленных, повергнутых среди осколков головоломки осознания, отчаяния и удивления. У них проколоты сердца. Отбиты легкие.

Это, в свою очередь, подводит меня к тому, о чем я вам расскажу нынче вечером – или днем, или каков бы ни был час и цвет. Это будет история об одном из таких вечно остающихся – о знатоке выживания.

Недлинная история, в которой, среди прочего, говорится:

- об одной девочке;
- о разных словах;
- об аккордеонисте;
- о разных фанатичных немцах;
- о еврейском драчуне;
- и о множестве краж.

С книжной воришкой я встречался три раза.

У ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Сначала возникло что-то белое. Слепящей разновидности.

Некоторые из вас наверняка верят во всякую тухлую дребедень: например, что белый –

толком и не цвет никакой. Так вот, я пришел, чтобы сказать вам, что белый – это цвет. Без всяких сомнений цвет, и лично мне кажется, что спорить со мной вы не захотите.

***** ОБНАДЕЖИВАЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ *****

Пожалуйста, не волнуйтесь, пусть я вам только что пригрозил.

Все это хвастовство – я не свирепый.

Я не злой.

Я – итог.

Да, все белое.

Мне показалось, что весь земной шар оделся в снег. Натянул его на себя, как натягивают свитер. У железнодорожного полотна – следы ног, утонувших по щиколотку. Деревья под ледяными одеялами.

Как вы могли догадаться, кто-то умер.

И его не могли просто взять и оставить на земле. Пока это еще не такая беда, но скоро путь впереди восстановят, и поезду нужно будет ехать дальше.

Там было двое кондукторов.

И мать с дочерью.

Один труп.

Мать, дочь и труп – упрямы и безмолвны.

– Ну чего ты еще от меня хочешь?

Один кондуктор был высокий, другой – низкий. Высокий всегда заговаривал первым, хоть и не был начальником. Теперь он посмотрел на низкого и кругленького второго. У того было мясистое красное лицо.

– Ну, – ответил он, – мы не можем их просто здесь бросить, правильно?

Терпение высокого кончалось.

– Почему нет?

Низкий разозлился как черт. Он уперся взглядом в подбородок высокого:

– Spinnst du? Ты дурной?

Омерзение сгущалось на его щеках. Кожа натянулась.

– Пошли, – сказал он, оступившись в снегу. – Отнесем обратно в вагон всех троих, если придется. Сообщим на следующую станцию.

А я уже совершил самую элементарную ошибку. Не могу передать вам всю степень моего недовольства собой. Сначала я все делал правильно:

Изучил слепящее снежно-белое небо – оно стояло у окна движущегося вагона. Я прямо-таки *вдыхал* его, но все равно дал слабину. Я дрогнул – мне стало интересно. Девочка. Любопытство взяло верх, и я разрешил себе задержаться, насколько позволит мое расписание, – и понаблюдать.

Через двадцать три минуты, когда поезд остановился, я вылез из вагона за ними.

У меня на руках лежала маленькая душа.

Я стоял чуть справа от них.

Энергичный дуэт кондукторов направился обратно к матери, девочке и трупику мужского пола. Точно помню, в тот день дышал я шумно. Удивляюсь, как кондукторы меня не услышали. Мир уже провисал под тяжестью всего этого снега.

Метрах в десяти слева от меня стояла и мерзла бледная девочка с пустым животом.

У нее дрожали губы.

Она сложила на груди озябшие руки.

А на лице книжной воришки замерзли слезы.

ЗАТМЕНИЕ

Следующий – черный закорючки, чтобы показать, если угодно, полюса моей многогранности. Был самый мрачный миг перед рассветом.

В этот раз я пришел за мужчиной лет двадцати четырех от роду. В каком-то смысле это было прекрасно. Самолет еще кашлял. Из обоих его легких сочился дым.

Разбиваясь, он взрезал землю тремя глубокими бороздами. Крылья были теперь словно отпиленные руки. Больше не взмахнут. Эта маленькая железная птица больше не полетит.

*** ЕЩЕ НЕКОТОРЫЕ ФАКТЫ ***

Иногда я прихожу раньше времени.

Я тороплюсь,

а иные люди цепляются

за жизнь дольше, чем ожидается.

Совсем немного минут – и дым иссяк. Больше нечего отдавать.

Первым явился мальчик: сбивчивое дыхание, в руке – вроде бы чемоданчик с инструментами. Ужасно волнуясь, подошел к кабине и взгляделся в летчика – жив ли; тот еще был жив. Книжная воришка прибежала где-то через полминуты.

Прошли годы, но я узнал ее.

Она тяжело дышала.

* * *

Мальчик вынул из чемоданчика – что бы вы думали? – плюшевого мишку.

Просунув руку сквозь разбитое стекло, он положил мишку летчику на грудь. Улыбающийся медведь сидел, нахохлившись, в куче обломков человека и луже крови. Еще через несколько минут рискнул и я. Время пришло.

Я подошел, высвободил душу и бережно вынес из самолета.

Осталось лишь тело, тающий запах дыма и плюшевый медведь с улыбкой.

Когда собралась толпа, все, конечно, изменилось. Горизонт начал угольно сереть. От черноты вверху остались одни каракули – и те быстро исчезали.

Человек в сравнении с небом стал цвета кости. Кожа скелетного оттенка. Мягкий комбинезон. Глаза у него были холодные и бурые, как пятна кофе, а наверху последняя загогулина превратилась во что-то для меня странное, однако узнаваемое. В закорючку.

Толпа занималась тем, чем занимается толпа.

Пока я пробирался в ней, каждый, кто стоял там, как-то подыгрывал этой тишине. Легкое сгущение несвязных движений рук, приглушенных фраз, безмолвных беспокойных оглядок.

Когда я обернулся на самолет, мне показалось, что летчик улыбается открытым ртом.

Грязная шутка под занавес.

Еще одна человеческая острота.

Человек лежал в пеленах комбинезона, а сереющий свет мерялся силой с небом. И как бывало уже много раз, стоило мне двинуться прочь, быстрая тень словно бы набежала опять – последний миг затмения, признание того, что еще одна душа отлетела.

Знаете, в какой-то миг, несмотря на краски, что ложатся и цепляются на все, что я вижу в мире, я часто ловлю затмение, когда умирает человек.

Я видел миллионы затмений.

Я видел их столько, что лучше уж и не помнить.

ФЛАГ

Последний раз, когда я видел ее, был красным. Небо напоминало похлебку, размешанную и кипящую. В некоторых местах оно пригорело. В красноте мелькали черные крошки и катышки перца.

Раньше дети играли тут в классики – на улице, похожей на страницы в жирных пятнах. Когда я прибыл, еще слышалось эхо. По мостовой топали ноги. Смеялись детские голоса, присоленные улыбками, но разлагались быстро.

И вот – бомбы.

В этот раз все опоздало.

Сирены. Кукушка визжит по радио. Все опоздало.

За какие-то минуты выросли и взгромоздились холмы из бетона и земли. Улицы стали разорванными венами. Кровь бежала по дороге, пока не высыхала, а в ней увязали тела, как бревна после наводнения.

Приклеенные к земле, все до единого. Целая уйма душ.

Судьба ли это?

Невезение?

Оттого ли они все так приклеивались?

Конечно, нет.

Не глумитесь.

Наверное, дело, скорее, было в ударах бомб – их сбрасывали те люди, что прятались в облаках.

Да, небо теперь было опустошительной необъятно-красной домашней стряпней. Немецкий городок опять разметали на куски. Снежинки пепла кружили с такой *прелестностью*, что подмывало их ловить высунутым языком, пробовать на вкус. Но эти снежинки опалили бы губы. Сварили бы сам рот.

Так и стоит перед глазами.

Я уже собирался двинуться прочь, когда увидел ее на коленях.

Вокруг был написан, оформлен и возведен горный хребет из битого камня. Она цеплялась за книжку.

Помимо остального, книжной воришке отчаянно хотелось обратно в подвал – писать или перечитать свою историю еще раз, последний. Вспоминая, я так отчетливо вижу это на ее лице. Ей до смерти туда хотелось – там надежно, там дом, – но она не могла пошевелиться. А еще и подвала-то больше не было. Он слился с искалеченным пейзажем.

И снова прошу вас – пожалуйста, поверьте.

Я хотел задержаться. Наклониться.

Я хотел сказать:

«Прости, малышка».

Но такое не позволено.

Я не наклонился. Не заговорил.

Я просто еще немного поглядел на нее. И когда она смогла двинуться с места, пошел за нею.

Она уронила книгу.

Упала на колени.




Книжная воришка завывала.

Когда началась расчистка, на ее книгу несколько раз наступили, и хотя команда была расчищать только бетонную кашу, самую драгоценную вещь девочки закинули в грузовик с мусором, и тут я не удержался. Залез в кузов и взял ее в руки, вовсе не догадываясь, что оставлю ее себе и буду смотреть на нее много тысяч раз за все эти годы. Буду рассматривать места, где мы пересекаемся, изумляться тому, что видела эта девочка и как она выжила. Лучше я сделать все равно ничего не смогу – тут можно лишь смотреть, как все встраивается в общую картину того, что я тогда видел.

Когда я ее вспоминаю, то вижу длинный список красок, но сильнее всего отзываются те три, в которых я видел ее во плоти. Бывает, мне удается воспарить высоко над теми тремя мгновениями. Я зависаю на месте, а гнилостная истина кровит, пока не приходит ясность.

Вот тогда я и вижу, как они встают в формулу.

*** * * КРАСКИ * * ***

БЕЛАЯ:  **ЧЕРНАЯ:**  **КРАСНАЯ:** 

Они накладываются друг на друга. Черная небрежной закорючки на белую слепящего земного шара и на густую похлебочную красную.

Да, часто я вынужден вспоминать ее, и в одном из бесчисленных своих карманов я носил ее историю – чтобы пересказать. Это одна из небольшого множества историй, которые я ношу с собой, и каждая сама по себе исключительна. Каждая – попытка, да еще какая попытка – доказать мне, что вы и ваше человеческое существование чего-то стоите.

Вот эта история. Одна из горсти.

Книжная ворюшка.

Если есть настроение, пошли со мной. Я расскажу вам ее.

Я кое-что вам покажу.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ «НАСТАВЛЕНИЕ МОГИЛЬЩИКУ»

с участием:

**химмель-штрассе – искусства свинюшества –
женщины с утюжным
кулаком – попытки поцелуя – джесси оуэнза –
наждачки – запаха дружбы – чемпиона в тяжелом
весе – и всем трепкам трепки**

ПРИБЫТИЕ НА ХИММЕЛЬ-ШТРАССЕ

Последний раз.

То красное небо...

Отчего вышло так, что книжная ворюшка стояла на коленях и выла рядом с рукотворной грудой нелепого, засаленного, кем-то состряпанного битого камня?

Много лет назад началось снегом.

Пробил час. Для кого-то.

***** ВПЕЧАТЛЯЮЩЕ ТРАГИЧЕСКИЙ МИГ *****

Поезд шел быстро.

Он был набит людьми.

В третьем вагоне умер шестилетний мальчик.

Книжная воришка и ее брат ехали в Мюнхен, где их скоро должны передать приемным родителям. Теперь мы, конечно, знаем, что мальчик не доехал.

***** КАК ЭТО СЛУЧИЛОСЬ *****
Внезапный порыв сильного кашля.
Почти вдохновенный порыв.
А за ним – ничего.

Когда прекратился кашель, не осталось ничего, кроме ничтожества жизни, что, шаркая, скользнула прочь, или почти беззвучной судороги. Тогда внезапность пробралась к его губам – они были ржаво-бурого цвета и шелушились, как старая покраска. Нужно срочно перекрашивать.

Их мать спала.

Я вошел в поезд.

Мои ноги ступили в загроможденный проход, и в один миг моя ладонь легла на губы мальчика.

Никто не заметил.

Поезд неся вперед.

Кроме девочки.

Одним глазом глядя, а другим еще видя сон, книжная воришка – она же Лизель Мемингер – без вопросов поняла, что младший брат Вернер лежит на боку и мертвый.

Его синие глаза смотрели в пол.

И не видели ничего.

Перед пробуждением книжная воришка видела сон о фюрере – Адольфе Гитлере. Во сне она была на митинге, где выступал фюрер, смотрела на его пробор цвета черепа и на идеальный квадратик усов. И с удовольствием слушала бурный поток слов, изливавшийся из его рта. Его фразы сияли на свету. В спокойный момент фюрер взял и наклонился – и улыбнулся ей. Она ответила ему улыбкой и сказала: «Guten Tag, Herr Führer. Wie geht's dir heute?» Она так и не научилась красиво говорить, и даже читать, потому что в школу она ходила редко. Причину этому она узнает в свое время.

И едва фюрер собрался ответить, она проснулась.

Шел январь 1939 года. Ей было девять лет, скоро исполнится десять.

У нее умер брат.

Один глаз открыт.

Один еще во сне.

Наверное, лучше бы она совсем спала, но на такое я, по правде, влиять не могу.

Сон слетел со второго глаза, и она меня застигла, тут нет сомнений. Как раз когда я встал на колени, вынул душу мальчика и она обмякла в моих распухших руках. Дух мальчика быстро согрелся, но в тот миг, когда я подобрал его, он был вялым и холодным, как мороженое. Начал таять у меня на руках. А потом стал согреваться и согрелся. И выздоровел.

А у Лизель Мемингер остались только запертая скованность движений и пьяный наскок мыслей. Es stimmt nicht. Это не на самом деле. Это не на самом деле.

И встряхнуть.

Почему они всегда их трясут?

Да, знаю, знаю – я допускаю, что это как-то связано с инстинктами. Запрудить течение истины. Сердце девочки в ту минуту было скользким и горячим, и громким, таким громким, громким.

Я сглупил – задержался. Посмотреть.

И теперь мать.

Лизель разбудила ее такой же очумелой тряской.

Если вам трудно представить это, вообразите неловкое молчание. Вообразите отчаяние, плывущее кусками и ошметками. Это как тонуть в поезде.

Стойко сыпал снег, и мюнхенский поезд остановили из-за работ на поврежденном пути. В поезде выла женщина. Рядом с ней в оцепенении застыла девочка.

В панике мать распахнула дверь.

Держа на руках трупик, она выбралась на снег.

Что оставалось девочке? Только идти следом.

Как вам уже сообщили, из поезда вышли и два кондуктора. Они решали, что делать, и спорили. Положение неприятное, чтобы не сказать больше. Наконец постановили, что всех троих нужно довести до следующей станции и там оставить, пусть сами разбираются.

Теперь поезд хромал по заснеженной местности.

Вот он оступился и замер.

Они вышли на перрон, тело – на руках у матери.

Встали.

Мальчик начал тяжелеть.

Лизель не имела понятия, где оказалась. Кругом все бело, и пока они ждали, ей оставалось только разглядывать выцветшие буквы на табличке. Для Лизель станция была безымянной, здесь-то через два дня и похоронили ее брата Вернера. Присутствовали священник и два закоченевших могильщика.

*** НАБЛЮДЕНИЕ ***

Пара кондукторов.

Пара могильщиков.

Когда доходило до дела, один отдавал приказы.

Другой делал, что ему говорили.

**И вот в чем вопрос: что если *другой* – гораздо больше,
чем один?**

Промахи, промахи – иногда я, кажется, только на них и способен.

Два дня я занимался своими делами. Как всегда, мотался по всему земному шару, поднося души на конвейер вечности. Видел, как они безвольно катятся прочь. Несколько раз я предостерегал себя: нужно держаться подальше от похорон брата Лизель Мемингер. Но не внял своему совету.

Приближаясь, я еще издали разглядел кучку людей, стыло торчавших посреди снежной пустыни. Кладбище приветствовало меня как старого друга, и скоро я уже был с ними. Стоял, склонив голову.

Слева от Лизель два могильщика терли руки и ныли про снег и неудобства рытья в такую погоду.

– Такая тяжесть врубаться в эту мерзлоту... – И так далее.

Одному было никак не больше четырнадцати. Подмастерье. Когда он уходил, из кармана его тужурки невинно выпала какая-то черная книжка, а он не заметил. Успел отойти, может, шагов на двадцать.

Еще несколько минут, и мать пошла оттуда со священником. Она благодарила его

за службу.

Девочка же осталась.

Земля подалась под коленями. Настал ее час.

Все еще не веря, она принялась копать. Не может быть, что он умер. Не может быть, что он умер. Не может...

Почти сразу же снег вгрызся в ее кожу.

Замерзшая кровь трескалась у нее на руках.

Где-то среди всего снега Лизель видела свое разорванное сердце, две его половинки. Каждая рдела и билась в этой белизне. Лишь ощутив на плече костлявую руку, девочка поняла, что за ней вернулась мать. Девочку отгаскивали куда-то волоком. Теплый вопль наполнил ее горло.

***** КАРТИНКА, МЕТРАХ *****

**В ДВАДЦАТИ Волок завершился, мать и
дочь остановились отдышаться.
В снегу торчал какой-то черный
прямоугольник.
Его увидела только девочка.
Нагнулась и подняла его и
крепко зажала в пальцах.
На книге были серебряные буквы.**

Они держались за руки.

Отпустили последнее, насквозь вымокшее «прости», повернулись и ушли с кладбища, еще несколько раз оглянувшись.

Я же задержался еще на несколько секунд.

И помахал.

Никто не махнул мне в ответ.

Мать и дочь покинули кладбище и отправились к следующему мюнхенскому поезду.

Обе худые и бледные.

У обеих на губах язвы.

Лизель заметила это в грязном запотевшем стекле вагона, когда незадолго до полудня они сели в поезд. По словам, написанным самой книжной воришкой, путешествие продолжалось, будто *все* уже произошло.

Поезд прибыл на Мюнхенский вокзал, и пассажиры заскользили наружу, будто из порванного пакета. Там были люди всех сословий, но бедные узнавались быстрее прочих. Обездоленные стараются всегда быть в движении, словно перемена мест может чем-то помочь. Не понимают, что в конце пути их будет ждать старая беда в новом обличье – родственник, целовать которого претит.

Полагаю, мать вполне это сознавала. Своих детей она везла не в высшие слои мюнхенского общества, но, видимо, приемную семью уже нашли, и новые родители, по крайней мере, могли хотя бы кормить девочку и мальчика получше и нормально выучить.

Мальчика.

Лизель не сомневалась, что память о нем мать несет, взвалив на плечи. Вот она его уронила. Его ступни, ноги, тело шлепнулись на платформу.

Как эта женщина могла ходить?

Как вообще могла двигаться?

Мне этого никогда не узнать и не понять до конца: на что способны люди.

Мать подняла его и пошла дальше, а девочка съежилась у нее под боком.

Состоялась встреча с чиновниками, свои ранимые головы подняли вопросы об опоздании и о мальчишке. Лизель выглядывала из угла тесного пыльного кабинета, а мать ее, сцепив мысли, сидела на самом жестком стуле.

Потом – суматоха прощания.

Прощание вышло слюнявым, девочка зарывалась головой в шерстяные изношенные плёсы мамино пальто. И опять куда-то волоком.

Далеко за окраиной Мюнхена был городок под названием Molching – таким, как мы с вами, правильнее всего произносить его как *Молькинг*. Туда и повезли девочку – на улицу под названием Химмель-штрассе.

***** ПЕРЕВОД *****
Himmel = Небеса

Кто бы ни придумал это название, у него имелось здоровое чувство юмора. Не то чтобы там была суцая преисподняя. Нет. Но и никак не рай.

Как бы там ни было, Лизель ждали новые родители.

Хуберманы.

Они ожидали девочку и мальчику, и на этих детей им должны были выделить небольшое пособие. Никто не хотел оказаться тем вестником, которому придется сообщить Розе Хуберман, что мальчик поездки не пережил. Сказать по правде, Розе никто вообще ничего не хотел говорить. В том, что касается характеров, Розе достался не самый ангельский, хотя у нее имелись успехи в воспитании приемных детей. Нескольких она явно перевоспитала.

Для Лизель это была поездка на машине.

Прежде на машине она не ездила ни разу.

Желудок ее непрерывно подскакивал и проваливался, к тому же трепетала тщетная надежда, что они заблудятся или передумают. А помимо прочего она не могла не возвращаться мыслями к матери, которая осталась на вокзале, собираясь уехать снова. Дрожит. Кутается в свое бесполезное пальто. Дожидаясь поезда, она будет грызть ногти. Перрон длинный и неудобный – ломоть холодного цемента. Будет ли она высматривать на обратном пути в том районе место, где похоронен ее сын? Или навалится слишком крепкий сон?

Машина катила дальше, и Лизель в ней с ужасом ждала последнего, смертельного поворота.

День стоял серый – цвета Европы.

Вокруг машины задвинули шторы дождя.

– Почти приехали. – Фрау Генрих, дама из государственной опеки, обернулась к девочке и улыбнулась. – Dein neues Heim. Твой новый дом.

Лизель протерла кружок на слезящемся окне и выглянула.

***** ФОТОСНИМОК ХИММЕЛЬ-ШТРАССЕ *****
Дома будто склеены между собой,
большей частью крохотные коттеджи
и длинные жилые блоки – эти, похоже, нервничают.
Замусоленный снег стелется ковром.
Бетон, голые деревья – вешалки для шляп
– и серый воздух.

С ними ехал еще один мужчина. Он остался с девочкой, когда фрау Генрих скрылась в доме. Ни разу не заговорил. Лизель решила: его приставили, чтоб она не сбежала или чтобы затащить ее внутрь, если она вдруг заупрямится. Но при этом, когда позже она таки заупрямилась, мужчина просто сидел и смотрел. Может, был крайним средством, окончательным решением.

Через несколько минут вышел очень высокий человек. Ганс Хуберман, приемный отец Лизель. Рядом с одной стороны шла фрау Генрих, среднего роста. С другой виделся приземистый силуэт Розы Хуберман, которая напоминала комод в наброшенном сверху пальто. На ходу она заметно переваливалась. Почти симпатично, когда б не лицо – будто из мятого картона и раздосадованное, словно Роза с трудом выносила происходящее. Ее муж шел прямо, с сигаретой, тлеющей между пальцев. Курил он самокрутки.

А дело вот в чем:

Лизель не желала выходить из машины.

– Was ist los mit dem Kind? – осведомилась Роза Хуберман. Затем повторила: – Что такое с ребенком? – Сунулась в машину лицом и сказала: – Na, komm. Komm.

Переднее сиденье сложили. Коридор холодного света приглашал девочку выйти. Двигаться она не собиралась.

Снаружи сквозь протертый кружок Лизель видела пальцы высокого мужчины – они все еще держали самокрутку. С кончика оступился пепел, несколько раз взлетел и нырнул, пока не рассыпался на земле. Только минут через пятнадцать смогли выманить Лизель из машины. Это сделал высокий человек.

Спокойно.

Потом была калитка, за которую она уцепилась.

Она держалась за столбик и отказывалась войти, а слезы стайкой тащились у нее из глаз. На улице начали собираться люди, пока Роза Хуберман не обругала их и они не убрались восвояси.

*** ПЕРЕВОД ***

ЗАЯВЛЕНИЯ РОЗЫ ХУБЕРМАН

– Чего вылупились, засранцы?

В конце концов Лизель Мемингер робко вошла в дом. За одну руку ее держал Ганс Хуберман. За другую – ее маленький чемодан. В этом чемодане под сложенным слоем одежды лежала маленькая черная книга, которую, как можно предположить, четырнадцатилетний могильщик из безымянного городка, наверное, разыскивал последние несколько часов. Представляю, как он говорит своему начальнику: «Клянусь, понятия не имею, куда она делась. Я везде искал. *Везде!*» Уверен, он никогда бы не заподозрил эту девочку, однако вот она – черная книга с серебряными словами, выведенными под самым потолком девочкиной одежды.

*** НАСТАВЛЕНИЕ МОГИЛЬЩИКУ ***

Двенадцатишаговое руководство по успешному рытью могил.

Издано Баварской ассоциацией кладбищ

Первая добыча книжной воришки – начало впечатляющей карьеры.

ПРЕВРАЩЕНИЕ В СВИНЮХУ

Да, впечатляющая карьера.

Впрочем, спешу признать, что между первой и второй украденной книгой был немалый разрыв. Еще одно следует упомянуть – первая книга украдена у снега, вторая – у огня. И не умолчим о том, что некоторые книги ей дарили. Всего у нее было четырнадцать книг, но своей историей она считала главным образом десять. Из этих десяти шесть было краденых, одна возникла на кухонном столе, две сделал для нее потайной еврей, одну принес тихий, одетый в желтое вечер.

Решив записать свою историю, она задалась вопросом, в какой момент книги и слова стали не просто что-то значить, а значить все. Не в тот ли миг, когда она впервые увидела комнату, где книг были полки за полками? Или когда на Химмель-штрассе появился Макс Ванденбург и принес в горстях многие беды и «Майн кампф» Гитлера? Или виновато чтение в бомбоубежищах? Последняя прогулка в Дахау? Или «Отрясательница слов»? Может, точного ответа, где и когда это началось, так и не будет. Во всяком случае, я не стану забегать вперед. Прежде чем мы доберемся до какого-нибудь ответа, нам нужно приобщиться к первым дням Лизель Мемингер на Химмель-штрассе и к искусству свинюшества.

Когда она появилась, с ее ладоней еще не сошли снежные укусы, а с пальцев – кровавый иней. Все в ней было какое-то недокормленное. Проволочные ножки. Руки как вешалки. На улыбку она была не скоро, но если та все же появлялась, была замороженная.

Волосы у нее были сорта довольно близкого к немецкому белокурому, а вот глаза – довольно опасные. Темно-карие. В те времена в Германии мало кто хотел бы иметь карие глаза. Может, они достались Лизель от отца, но знать наверное она не могла, ведь отца Лизель не помнила. Об отце она хорошо помнила только одно. Ярлык, которого не могла понять.

*** СТРАННОЕ СЛОВО ***

Коммунист

Она не раз слышала его за последние несколько лет.

«Коммунист».

Пансионы, набитые людьми, комнаты, полные вопросов. И это слово. Это странное слово всегда было где-то поблизости, стояло в углу, глядело из сумрака. Носило пиджаки, мундиры. Куда бы ни поехали они с матерью, слово оказывалось там, едва разговор заходил об отце. Девочка чуяла его и знала его вкус. Не могла только разобрать по буквам или понять. А когда спросила у матери, что оно значит, та ответила, что это неважно, ни к чему ломать голову над такими вещами. В одном пансионе была женщина здоровее прочих, она пробовала учить детей писать, чертя углем на стене. Лизель так и подмывало спросить ее, что значит слово, но до этого так и не дошло. Ту женщину однажды увели на допрос. Она не вернулась.

Когда Лизель попала в Молькинг, она все-таки догадывалась, что ее спасают, но это не утешало. Если мама любит ее, зачем бросила на чужом крыльце? Зачем? Зачем?

Зачем?

И то, что ответ был ей известен – пусть на самом простом уровне, – казалось, не имело значения. Мать все время болела, а денег на поправку никогда не находилось. Это Лизель знала. Но отсюда не следовало, что она должна с этим мириться. Сколько бы ни говорили ей, что ее любят, Лизель не верила, что бросить ее – доказательство любви. Ничто не меняло того факта, что она – потерянный исхудавший ребенок, опять в каком-то чужом месте, опять с чужими людьми. Одна.

Хуберманы жили в одном из домиков-коробок на Химмель-штрассе. Пара комнат, кухня и общая с соседями уборная во дворе. Плоская крыша и неглубокий подвал для припасов. Считалось, что подвал – не *достаточной глубины*. В 1939- м беда невелика. Позже, в 42- м и 43- м – уже проблема. Когда начались воздушные налеты, Хуберманам приходилось бежать по улице до нормального укрытия.

Поначалу самым сильным ударом была ругань. Такая *неистовая* и такая обильная. Каждое второе слово было или Saumensch, или Saukerl, или Arschloch. Для людей, незнакомых с этими словами, надо объяснить. Sau, ясное дело, означает свинью. В случае Saumensch оно служит для того, чтобы уязвить, выбранить или просто унижить женщину. Saukerl (произносится «заукэрл») – это для мужчин. Arschloch можно точно перевести словом «засранец». Но это слово не имеет половой принадлежности. Оно просто есть.

– Saumensch, du dreckiges! – орала приемная мать в тот первый вечер, когда Лизель отказалась принимать ванну. – Грязная свинья! Почему не раздеваешься?

Она здорово умела злостововать. Вообще-то можно сказать, что лицо Розы Хуберман украшала непроходящая злоба. Именно от этого появлялись морщины в картонной ткани ее физиономии.

Лизель, разумеется, уже купалась – в тревоге. Никакими судьбами она не собиралась ни в какую ванну – да и ни в какую постель, если уж на то пошло. Она забила в угол тесной, как чулан, умывальни, цепляясь за несуществующие ручки стен в поисках хоть какой-то опоры. Но не было ничего, кроме сухой краски, сбивчивого сопения и потока Розинной брани.

– Отстань от нее. – В потасовку вмешался Ганс Хуберман. Его мягкий голос пробрался к ним, будто протиснувшись сквозь толпу. – Дай я.

Он подошел ближе и сел на пол, привалившись к стене. Кафель был холодным и недобрый.

– Умеешь сворачивать самокрутки? – спросил он Лизель – и следующий час или около того они сидели в поднимавшемся омуте потемок, забавляясь листками папиросной бумаги и табаком, который скуривал Ганс Хуберман.

Прошел час, и Лизель уже могла довольно прилично свернуть самокрутку. Купание так и не случилось.

***** НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О *****

ГАНСЕ ХУБЕРМАНЕ Любит курить.

Главное удовольствие от курения для него состоит в сворачивании самокруток.

По профессии он маляр, играет на аккордеоне. Это бывает кстати, особенно зимой, когда можно кое-что заработать, играя в пивнушках Молькинга вроде «Кноллера».

На одной мировой войне он уже надул меня, но позже его отправят на вторую (такая извращенная награда), где он опять как-то сумеет со мной разминуться.

Для большинства людей Ганс Хуберман был едва заметен. Не-особенный человек. Разумеется, маляр он был отличный. Музыкальные способности – выше среднего. И все же как-то – уверен, вам встречались такие люди – он умел всегда сливаться с фоном, даже когда стоял первым в очереди. Всегда был *вон там*. Не видный. Не важный и не особенно ценный.

Как вы можете представить, самым огорчительным в такой наружности было ее полное, скажем так, несоответствие. Несомненно, в Гансе Хубермане имелась ценность, и для Лизель Мемингер это не прошло незамеченным. (Человеческое дитя иногда гораздо пронизательнее до одури занудных взрослых.) Лизель обнаружила это сразу.

Как он держался.

Это его спокойствие.

Когда Ганс Хуберман в тот вечер зажег свет в маленькой черствой умывальне, Лизель обратила внимание на странные глаза своего приемного отца. Они были сделаны из доброты и серебра. Будто бы мягкого серебра, расплавленного. Увидев эти глаза, Лизель сразу поняла, что Ганс Хуберман многого стоит.

***** НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О *****

РОЗЕ ХУБЕРМАН

**В ней пять футов и один дюйм росту,
она собирает каштановые с сединой пряди
упругих волос в узел.**

**В дополнение к Гансовым заработкам она
стирает и гладит для пяти зажиточных
семей Молькинга.**

Готовит она ужасно.

**И обладает уникальной способностью разозлить
едва ли не любого, с кем когда-либо встречалась.**

**Но она *по правде* любит Лизель Мемингер.
Просто выбрала странный способ это показывать.
Включая затрещины деревянной ложкой и слова,
чередующиеся с разной частотой.**

Когда Лизель, прожив на Химмель-штрассе две недели, наконец выкупалась, Роза стиснула ее в мощнейшем травмоопасном объятии. Едва не задушив девочку, она сказала:
– Saumensch, du dreckiges – и то, пора уж!

* * *

Через несколько месяцев они перестали быть господином и госпожой Хуберман. Обойдясь обычной пригоршней слов, Роза объяснила:

– Слушай-ка, Лизель, – теперь будешь называть меня Мамой! – Задумалась на миг. – Как ты звала свою настоящую мать?

Лизель тихо сказала:

– Auch Mama. Тоже мама.

– Ладно, я, значит, буду мама номер два. – Роза оглянулась на мужа. – И этого, там. – Казалось, она собирает слова в кулак, комкает их и швыряет через стол. – Этого свинуха, грязного борова – будешь звать его папой, verstehst? Поняла?

– Да, – легко согласилась Лизель. В этом доме любили быстрые ответы.

– «Да, *Мама*», – поправила ее Мама. – Свинюха. Называй меня Мамой, когда со мной говоришь.

В этот миг Ганс Хуберман как раз закончил сворачивать самокрутку, лизнул край бумажки и заклеил. Поглядел на Лизель и подмигнул. Его она будет звать Папой без усилий.

ЖЕНЩИНА С УТЮЖНЫМ КУЛАКОМ

Те первые месяцы были, конечно, самыми трудными.

Каждую ночь Лизель снились страшные сны.

Лицо брата.

Как он глядит в пол вагона.

Просыпаясь, она плыла в кровати, кричала, тонула в половодье простыней. Напротив у стены кровать брата, как лодка, дрейфовала в темноте. Лизель приходила в себя, и кровать медленно тонула – видимо, в полу. И в этом видении радости было немного, и обычно крики

девочки стихали не сразу.

Пожалуй, единственное благо страшных снов было в том, что в комнату Лизель тогда приходил Ганс Хуберман, новый Папа – с утешением и любовью.

Он приходил каждую ночь и сидел с нею. Первые раз-другой просто приходил – другой человек, истреблявший ее одиночество. Через несколько ночей он прошептал:

– Ш-ш, я тут, все хорошо.

Через три недели он обнял ее. Доверие росло быстро, и причиной была прежде всего грубая сила нежности этого человека, его *здесьность*. С самого начала девочка знала, что он придет с полукрика и не покинет ее.

*** ОПРЕДЕЛЕНИЕ, НЕ НАЙДЕННОЕ ***

В СЛОВАРЕ

Не-покидание – проявление доверия и любви,
часто распознаваемое детьми.

Ганс Хуберман, сонно щурясь, сидел на кровати, а Лизель плакала ему в майку и глубоко дышала им. Каждую ночь сразу после двух она снова засыпала под этот запах: смесь умерших сигарет, человеческой кожи и десятилетий краски. Поначалу она всасывала все это, затем вдыхала, пока не шла на дно сама. А наутро Ганс был в нескольких шагах от нее – скрючившись едва ли не пополам, спал на стуле. На вторую кровать никогда не ложился. Лизель выбиралась из постели и осторожно целовала его щеку, а он просыпался и улыбался ей.

В иные дни Папа просил ее вернуться в постель и минутку подождать, возвращался с аккордеоном и играл ей. Лизель садилась и мычала в такт, от возбуждения поджав озябшие пальцы на ногах. Прежде никто не дарил ей музыки. Она глупо сама себе ухмылялась, наблюдая, как рисуются линии на Папином лице, глядя в мягкий металл его глаз, – пока из кухни не доносилась брань:

– КОНЧАЙ ПИЛИКАТЬ, СВИНУХ!

Папа играл еще немного.

Подмигивал девочке, и она неумело подмигивала в ответ.

Несколько раз, только чтобы чуть больше позлить Маму, он приносил инструмент на кухню и играл, пока все завтракали. Папин хлеб с джемом лежал недоеденным на тарелке, выгнувшись по форме откусов, а музыка смотрела Лизель прямо в лицо. Я знаю, это странно звучит, но так ей виделось. Папина правая рука бродила по клавишам цвета зубов. Левая тискала кнопки. (Лизель особенно нравилось, когда он нажимал серебряную, искрящую – до мажор.) Поцарапанные, но все же блестящие черные бока аккордеона ходили туда-сюда, когда Папины руки сжимали пыльные меха, заставляя их всасывать воздух и выталкивать его обратно. В такие утра на кухне Папа давал аккордеону жизнь. По-моему, если как следует задуматься, эти слова имеют смысл.

Как мы определяем, живое ли перед нами?

Смотрим, дышит ли.

Музыка аккордеона, если разобраться, еще и провозглашала надежность. Дневной свет. Днем не мог присниться страшный сон о брате. Лизель вспоминала его и тайком часто плакала в тесной умывальне, но все равно радовалась, что не спит. В первую ночь у Хуберманов Лизель спрятала свою последнюю память о брате – «Наставление могильщику» – под матрасом и теперь доставала книгу иногда, просто подержать в руках. Разглядывая буквы на обложке и трогая текст на страницах, она и знать не знала, что все это значит. На самом деле ей было все равно, о чем эта книга. Важно было то, что она значит.

*** ЗНАЧЕНИЕ КНИГИ ***

1. Последний раз, когда она видела брата.

2. Последний раз, когда она видела мать.

Бывало, Лизель шептала слово «мама» и вспоминала лицо матери сотню раз за один день. Но это мелкие горести в сравнении с ужасом ее сновидений. Там, в необъятных просторах сна, она была, как никогда, беспросветно одинока.

Не сомневаюсь, вы уже заметили: других детей в доме не было.

Хуберманы родили двоих собственных, но те уже выросли и жили отдельно. Ганс-младший работал в центре Мюнхена, а Трудди подрабатывала домработницей и няней. Вскоре они оба окажутся на войне. Одна будет лить пули. Другой – ими стрелять.

Школа, как вы можете представить, оказалась сокрушительным провалом.

Хотя она была государственной, там имелось сильное католическое влияние, а Лизель была лютеранка. Не самое благоприятное начало. Затем выяснилось, что девочка не умеет ни читать, ни писать.

К вящему унижению, ее отправили к младшим детишкам, которые только начали учить азбуку. И хотя Лизель была худенькой и бледной, она казалась себе великаншей среди карликов и не раз думала: хорошо бы стать такой бледной, чтобы вовсе исчезнуть.

Даже дома ей особо некому было помочь.

– Нечего у него спрашивать, – назидательно говорила Мама. – Этот свинух. – Папа сидел уставившись в окно – привычка такая. – Он бросил школу в четвертом классе.

Не поворачиваясь, Папа отвечал спокойно, однако с ехидством:

– Ага, и ее тоже не спрашивай! – Он стряхивал пепел за окно. – Она бросила школу в третьем.

Книг в доме не водилось (кроме той, спрятанной у Лизель под матрасом), и Лизель только и могла, что бормотать азбуку про себя, пока в недвусмысленных выражениях ей не прикажут умолкнуть. Весь этот бубнеж. Но домашние занятия чтением начались потом, уже после кошмара обмоченной постели. Неофициально это звалось полуночными уроками, хотя обычно начинались они в два часа пополудни. Об этом дальше.

В середине февраля, когда Лизель исполнилось десять, ей подарили старую куклу без одной ноги и с желтыми волосами.

– Все, что мы смогли, – виновато сказал Папа.

– Что ты мелешь? Да ей за счастье и *это* получить, – вразумила его Мама.

Ганс разглядывал уцелевшую кукольную ногу, а Лизель пока примеряла новую форму. Десять лет означало «Гитлер-югенд». «Гитлерюгенд» означал детскую коричневую форму. Лизель как девочку записали во что-то под названием БДМ.

*** РАСШИФРОВКА ***

СОКРАЩЕНИЯ

Оно означает

Bund Deutscher Madchen – Союз немецких девушек.

Первым делом там заботились, чтобы ты как следует исполняла «Хайль Гитлер». Затем учили стройно маршировать, накладывать повязки и зашивать одежду. Кроме того водили в походы и на другие такие же занятия. Среда и суббота были установленные дни сборов – с трех до пяти.

Каждую среду и субботу Папа провожал Лизель в штаб БДМ, а через два часа забирал. Об этом они почти не разговаривали. Просто шли, взявшись за руки, и слушали свои шаги, и Папа выкуривал самокрутку-другую.

Только одно тревожило Лизель в Папе – он часто уходил. Нередко вечером он заходил в гостиную (которая заодно служила Хуберманам спальней), вытягивал из старого буфета аккордеон и протискивался через кухню к выходу.

Он шел по Химмель-штрассе, а Мама открывала окно и кричала вслед:

– Поздно не возвращайся!

– Не так громко, а? – оборачивался и кричал в ответ он.

– Свинух! Поцелуй меня в жопу! Хочу – и кричу!

Отзвуки ее брани катились за Папой по улице. Он больше не оглядывался – если только не был уверен, что жена ушла. В такие вечера, остановившись в конце улицы с футляром в руке, он оборачивался, немного не дойдя до лавки фрау Диллер на углу, и видел фигуру, сменившую Розу в окне. На миг его длинная призрачная ладонь взлетала вверх, потом он поворачивался и медленно шел дальше. В следующий раз Лизель увидит его в два часа ночи, когда он будет осторожно вытаскивать ее из страшного сна.

* * *

На маленькой кухне вечера неизменно проходили бурно. Роза Хуберман непрерывно говорила, а для нее говорить, значит – *schimpfen*¹. Постоянно что-то доказывала и жаловалась. Спорить вообще-то было не с кем, но Мама умело использовала любой подвернувшийся случай. У себя на кухне она могла спорить с целым миром – и почти каждый вечер спорила. После ужина и Папиного ухода Лизель с Розой обычно оставались на кухне, и Роза принималась за глажку.

Несколько раз в неделю Лизель, вернувшись из школы, отправлялась с Мамой на улицы Молькинга – по состоятельным домам, собирать вещи в стирку и разносить стираное. Кнаупт-штрассе, Хайде-штрассе. Еще пара улиц. Мама принимала и отдавала стирку с дежурной улыбкой, но лишь дверь закрывалась, Роза, уже уходя, начинала поносить этих богатеев со всеми их деньгами и бездельем.

– Совсем *g'schtinkerdt*, не могут себе одежду постирать, – ворчала она, хотя сама зависела от этих людей. – Этому, – обличала она герра Фогеля с Хайде-штрассе, – все деньги достались от отца. Вот и проматывает на дамочек и выпивку. Да на стирку с глажкой, конечно!

Это было что-то вроде позорной переклички.

Герр Фогель, герр и фрау Пфаффельхурфер, Хелена Шмидт, Вайнгартнеры. Все они были хоть *в чем-нибудь*, но виноваты.

Эрнст Фогель, по словам Розы, помимо пьянства и дорогостоящего распутства, постоянно чесал в обсиженных гнидами волосах, лизал пальцы и только потом подавал деньги.

– Их надо стирать, прежде чем нести домой, – подводила черту Роза.

Пфаффельхурферы пристально разглядывали работу.

– «Пожалуйста, на этих рубашках никаких складок! – передразнивала их Роза. – На пиджаке чтоб ни одной морщинки!» И вот стоят и все рассматривают прямо передо мной. Прямо у меня под носом! *G'sindel!*² Ну и отребье!

Вайнгартнеры были, очевидно, «дурачьем с постоянно линяющей кошачьей свинойхой».

– Ты знаешь, сколько я вожусь, очищаю всю это шерсть? Она везде!

Хелена Шмидт была богатая вдова.

¹ Браниться (нем.). – Здесь и далее прим. переводчика.

² Зд.: завонялись (нем.).

– Старая рухлядь – сидит там и чахнет. Ей за всю жизнь ни дня не пришлось работать. Однако самое злое презрение Роза приберегала для дома номер 8 по Гранде-штрассе. Большого дома на высоком холме в верхней части Молькинга.

– Это вот, – показала она, когда первый раз привела туда Лизель, – дом бургомистра. Жулика этого. Жена его целый день сидит сложа руки, сквалыга, огонь развести жалеет – у них вечно холодрыга. Чокнутая она. – И Роза повторила с расстановкой: – Полностью. Чокнутая. – А у калитки махнула девочке рукой. – Иди ты.

Лизель перепугалась до смерти. На невысоком крыльце громоздилась гигантская коричневая дверь с медным молотком.

– Что?

Мама пихнула ее.

– Не чтокай мне, свинюха! Тащи!

Лизель потащила. Прошла по дорожке, взошла на крыльцо и, помедлив, постучала.

Дверь открыл банный халат.

А внутри халата оказалась женщина с испуганными глазами, волосами как пух и в позе забитого существа. Увидав Маму у калитки, она подала Лизель узел с бельем.

– Спасибо, – сказала Лизель, но безответно. Только дверь. Она закрылась.

– Видишь? – спросила Мама, когда Лизель вернулась к калитке. – Вот что мне приходится терпеть. Этих богатых гнусов, свиней ленивых...

Уже уходя с узлом в руках, Лизель оглянулась. С двери ее провожал пристальным взглядом медный молоток.

Закончив распекать людей, на которых работала, Роза Хуберман обычно переходила к своему излюбленному предмету поношения. Собственному мужу. Глядя на мешок со стиркой и на ссутулившиеся дома, она все говорила, говорила и говорила.

– Если бы твой Папа хоть на что-нибудь годился, – сообщала она Лизель *каждый* раз, пока они шли по Молькингу, – мне бы не пришлось этим заниматься! – И насмешливо фыркала – Маляр! И чего я вышла за этого засранца? Мне же так и говорили – родители то есть! – Их шаги хрустели по дорожке. – И что я теперь – таскаюсь по улицам и гну спину на кухне, потому что у этого свинуха вечно нет работы. Настоящей, по крайней мере. Только жалкий аккордеон и каждый вечер по этим грязным притонам!

– Да, Мама.

– Это все, что ты можешь сказать? – Мамины глаза стали как две бледно-голубые заплаты на лице.

Лизель с Розой шагали дальше.

Мешок с бельем несла Лизель.

Дома белье стирали в титане рядом с плитой, развешивали вокруг камина в гостиной, потом гладили на кухне. Вся работа шла на кухне.

– Ты слышала? – почти каждый вечер спрашивала ее Мама. В кулаке она держала утюг, нагретый на плите. Свет во всем доме был тусклый, и Лизель сидела за столом, уставившись в провалы между языками пламени.

– Что? – спрашивала она. – Что там?

– Это была Хольцапфель! – Мама уже срывалась с места. – Эта свинюха только что снова плюнула нам на дверь!

Такая традиция была у одной их соседки, фрау Хольцапфель – плевать им на дверь, всякий раз проходя мимо. От двери до калитки было всего несколько метров, а фрау Хольцапфель обладала, скажем так, нужной дальностью – и меткостью.

Причина плевков заключалась в том, что фрау Хольцапфель и Роза Хуберман уже лет десять состояли в какой-то словесной войне. Никто не знал истоков этой вражды. Они и сами, должно быть, ее забыли.

Фрау Хольцапфель была сухопарая женщина и, как видим, так и брызгала злобой.

Замужем она никогда не бывала, но имела двух сыновей, несколькими годами старше Хуберманова отпрыска. Оба ушли в армию, и оба еще появятся в эпизодических ролях, прежде чем наш рассказ закончится, это я вам обещаю.

Ну а про плевки мне следует добавить, что плевалась фрау Хольцапфель еще и добросовестно. Никогда не манкировала обязанностью харкнуть и сказать «Свинья!», проходя мимо двери дома номер 33. Вот что я понял про немцев:

Похоже, они без ума от свиней.

***** МАЛЕНЬКИЙ ВОПРОС И *****
ОТВЕТ НА НЕГО
И кого, по-вашему, каждый вечер
заставляли вытирать с двери плевков?
Точно – угадали.

Когда женщина с утюжным кулаком велит тебе пойти и стереть с двери плевков, хочешь не хочешь, а пойдешь. Особенно если утюг горячий.

Вообще-то это стало обычным делом.

Каждый вечер Лизель выходила на крыльцо, вытирала дверь и смотрела на небо. Обычно небо было как помой – холодное и густое, скользкое и серое, – но время от времени несколько звезд набирались духу показаться и посветить, пусть и несколько минут. В такие вечера Лизель задерживалась подольше и ждала.

– Привет, звезды.

Ожидание.

Крика из кухни.

Или пока звезды опять не пойдут ко дну, в хляби немецкого неба.

ПОЦЕЛУЙ
(Малолетний вершитель)

Как и в большинстве маленьких городков, в Молькинге было полно чудаков. Несколько жило на Химмель-штрассе. Фрау Хольцапфель была лишь одним из таких персонажей.

Среди остальных имелись и такие:

- Руди Штайнер – соседский парнишка, помешанный на чернокожем американском спортсмене Джесси Оуэнзе³.

- Фрау Диллер – истинная арийка, хозяйка лавки на углу.

- Томми Мюллер – мальчик с хроническим воспалением среднего уха, которое обернулось несколькими операциями, розовым ручейком кожи, нарисованным поперек лица и постоянными подергиваниями.

- И мужчина, известный главным образом как «Пфиф-фикус», – сквернослов, рядом с которым Роза Хуберман покажется златоустом и праведницей.

В общем-то, люди на улице жили довольно бедные, несмотря на ощутимый подъем немецкой экономики при Гитлере. Бедные районы города никуда не делись.

Как уже упоминалось, соседний с Хуберманами дом занимала семья по фамилии Штайнер. У Штайнеров было шестеро детей. Один, пресловутый Руди, скоро станет лучшим другом Лизель, позже – ее товарищем, а иногда и подстрекателем в преступлениях. Лизель познакомилась с ним на улице.

³ Джесси Оуэнз (1913–1980) – американский чернокожий спортсмен, четырехкратный чемпион Олимпийских игр 1936 г. в Мюнхене (бег 100 м, 200 м, эстафета 4 × 100 м; прыжки в длину), посрамивший гитлеровскую идею превосходства белой расы.

Через несколько дней после первой ванны Мама разрешила Лизель выйти погулять с другими детьми. На Химмель-штрассе дружбы завязывались под открытым небом, невзирая на погоду. Дети редко ходили друг к другу в гости: дома были тесными и в них обычно мало что содержалось. Кроме того, дети предавались любимому занятию, как профессионалы, на улице. Футболу. Команды были хорошо сыграны. Ворота обозначали мусорными баками.

Лизель была новенькая, и ее тут же впахнули между этими баками. (Освободив наконец Томми Мюллера, даром что он был самый никчемный футболист, какого только знала Химмель-штрассе.)

Поначалу все шло очень мило, пока Томми Мюллер не сбил в снег Руди Штайнера, отчаявшись отобрать у него мяч.

– Чё такое?! – заорал Томми. Его лицо дергалось от возмущения. – А чё я сделал?!

За пенальти высказались все в команде, и вот Руди Штайнер вышел против новенькой Лизель Мемингер.

Он установил мяч на кучку грязного снега, уверенный в обычном исходе дела. В конце концов, Руди забивал пенальти уже восемнадцать раз подряд, даже когда соперники позаботились выдворить из ворот Томми Мюллера. Кем бы его ни заменили, Руди забьет.

В этот раз Лизель тоже попытались выгнать из ворот. Как вы можете догадаться, она уперлась, и Руди ее поддержал:

– Не, не. – Он улыбался. – Пусть стоит! – И потер руки.

Снег перестал падать на грязную улицу, и между Руди и Лизель насобиралось мокрых следов. Руди подволокся к мячу, ударил, Лизель бросилась и как-то сумела отбить мяч локтем. Затем поднялась, ухмыляясь, но ей в лицо тут же врезался снежок. Его наполовину слепили из грязи. И вlepили дико больно.

– Что, нравится? – Мальчишка ослабилась и побежал догонять мяч.

– Свинух, – прошептала Лизель. Язык новой семьи усваивался быстро.

***** НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О РУДИ ШТАЙНЕРЕ *****

Он на восемь месяцев старше Лизель, и у него худые ноги, острые зубы, выпученные синие глаза и волосы лимонного цвета.

Один из шести детей в семье Штайнеров, вечно голодный.

На Химмель-штрассе его считают немного того. Из-за одного происшествия, о котором редко говорят, но все слышали, – «Происшествия с Джесси Оуэнзом», когда Руди вымазался углем и как-то ночью пришел на местный стадион бежать стометровку.

Пусть даже чокнутому, Руди изначально было суждено стать лучшим другом Лизель. Снежок в лицо – бесспорно идеальное начало верной дружбы.

Уже через несколько дней Лизель стала ходить в школу вместе со Штайнерами. Мать Руди Барбара заставила его пообещать, что он будет провожать новую девочку, – заставила прежде всего потому, что прослышала о том снежке. К чести Руди, он с удовольствием послушался. Он вовсе не был юным женоненавистником, как многие мальчишки. Девочки ему очень нравились – и Лизель нравилась (отсюда и снежок). Вообще-то Руди Штайнер был из тех юных нахальных засранцев, которые спят и видят себя с женщинами. Наверное, посреди персонажей и миражей каждого детства отыщется такой ранний малыш. Мальчуган, который решительно не боится противоположного пола – исключительно потому, что эта боязнь свойственна остальным; личность того типа, что не страшится принимать решения. И в нашем случае Руди Штайнер насчет Лизель Мемингер уже все решил.

По дороге в школу он старался показать ей городские достопримечательности – или, по крайней мере, успел позатыкать ими паузы между покрякиванием на своих младших, чтоб захлопнули варежку, и окриками старших, которые велели захлопнуться ему. Первым интересным местом у него было небольшое оконце на втором этаже многоквартирного дома.

– Тут живет Томми Мюллер. – Руди понял, что Лизель не помнит, кто это. – Дергунец, ну? В пять лет потерялся на рынке в самый холодный день зимы. Его нашли через три часа – так он замерз в ледышку, и от холода у него жутко болело ухо. Потом в ушах у него стало ужасное воспаление, ему сделали три или четыре операции и порезали все нервы. Вот он и дергается.

– И плохо играет в футбол, – вставила Лизель.

– Хуже всех.

Следующее место – лавка на углу в конце Химмель-штрассе. Лавка фрау Диллер.

*** ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ ***

О ФРАУ ДИЛЛЕР

У нее есть золотое правило.

Фрау Диллер была угловатая женщина в толстенных очках и со злодейским взглядом. Такой злобный вид она выработала, чтобы ни у кого даже мысли не возникло стащить что-нибудь из ее лавки, где фрау восседала со своей солдатской выправкой и леденящим голосом – и даже изо рта у нее пахло «хайльгитлером». Сама лавка была белая, холодная и совершенно бескровная. Прижавшийся к ней сбоку домишко дрожал более крупной дрожью, чем остальные дома на Химмель-штрассе. Дрожь эту вселяла фрау Диллер – раздавала ее как единственный бесплатный товар в своем заведении. Она жила ради своей лавки, а лавка ее жила ради Третьего Рейха. И даже когда в том же году ввели карточки, было известно, что она продает кое-какие труднодоступные товары из-под прилавка, а деньги жертвует фашистской партии. На стене над тем местом, где она обычно сидела, у нее висел снимок фюрера в рамочке. Если, войдя в лавку, ты не сказал «Хайль Гитлер!», тебя никто не стал бы обслуживать. Когда они проходили, Руди показал Лизель пуленепробиваемые глаза, злобно зырявшие из окна лавки.

– Говори «Хайль!», когда туда заходишь, – сухо предупредил он. – Если не хочешь гулять оттуда.

Они уже прилично отошли, и Лизель оглянулась, а увеличенные глаза по-прежнему вперивались в окно.

За углом была Мюнхен-штрассе (главная дорога в Молькинг и из Молькинга), вся залитая жижей.

Как часто бывало в те дни, по улице промаршировали строем солдаты на учениях. Шагали прямые шинели, черные сапоги пуще прежнего пачкали снег. Лица сосредоточенно уставлены вперед.

Проводив взглядами солдат, Лизель со Штайнерами двинулись мимо каких-то витрин и величественной ратуши, которую позже обрубят по колено и заруют в землю. Некоторые магазины были заброшены, и на них еще красовались желтые звезды и ругань на евреев. Дальше по улице в небо целилась кирха, ее крыша – этюд подогнанных друг к другу черепиц. Вся улица сплошь была длинным тоннелем серого – коридор сырости, где ежатся на холоде люди и хлюпают мокрые шаги.

В одном месте Руди бросился бегом вперед, потянув за собой Лизель.

И постучал в витрину портновской мастерской.

Умей Лизель прочесть вывеску, она поняла бы, что хозяин здесь – отец Руди. Мастерская еще не открылась, но внутри человек уже раскладывал на прилавке какую-то одежду. Он поднял взгляд и помахал.

– Мой папа, – сообщил Руди, и тут же они оказались в толпе разнокалиберных Штайнеров, где каждый махал, или посылал отцу воздушный поцелуй, или стоял и просто

кивал (как самые старшие), а потом двинулись дальше к последней достопримечательности перед школой.

*** ПОСЛЕДНЯЯ ОСТАНОВКА ***

Улица желтых звезд

Тут никто не хотел задерживаться, но почти все останавливались и озирались. Улица – как длинная переломленная рука, на ней – несколько домов с рваными стеклами и контуженными стенами. На дверях нарисованы звезды Давида. Дома эти – будто какие-то прокаженные. По самой меньшей мере – гноящиеся болячки на израненной немецкой земле.

– Шиллер-штрассе, – сказал Руди. – Улица желтых звезд.

Вдалеке по улице брели какие-то прохожие. Из-за мороси они казались призраками. Не люди, а кляксы, топчущиеся под тучами свинцового цвета.

– Эй, пошли давайте, – окликнул Курт (старший из Штайнеров-детей), и Руби с Лизель поспешили за ним.

В школе Руби настойчиво разыскивал Лизель на каждой перемене. Ему было начхать, что другие фыркают над тупицей новенькой. Он стал помогать ей с самого начала, он будет рядом и потом, когда ее тоска перельется через край. Но он будет это делать не бескорыстно.

*** ХУЖЕ МАЛЬЧИШКИ, КОТОРЫЙ ***

ТЕБЯ НЕНАВИДИТ, ТОЛЬКО ОДНО

– мальчишка, который тебя любит.

Раз в конце апреля после уроков Руди с Лизель шатались по Химмель-штрассе, собираясь, как обычно, играть в футбол. Было рановато, остальные игроки пока не вышли. На улице они увидели одного сквернослова Пффифкуса.

– Смотри, – махнул Руди.

*** ПОРТРЕТ ПФИФФИКУСА ***

Хлипкая фигура. Белые волосы.

Черный дождевик, бурые штаны, разложившиеся ботинки
и язык – да еще какой.

– Эй, Пффифкус!

Силуэт вдалеке обернулся, и Руди тут же засвистал.

Выпрямившись, старик тут же пошел браниться с такой лютостью, в какой нельзя было не признать редкостного таланта. Его настоящего имени, похоже, никто не знал, а если кто и знал, то им его никогда не звали. Только «Пффифкус» – так зовут того, кто любит свистеть, а Пффифкус это явно любил. Он постоянно насвистывал мелодию под названием «Марш Радецкого»⁴, и все городские детишки, окликнув его, начинали выводить тот же мотивчик. Пффифкус тотчас забывал свою обычную походку (наклон вперед, крупные циркульные шаги, руки за спиной в дождевике) и, выправившись, начинал изрыгать брань. Тут-то всякая благостность разлеталась в пух и прах, поскольку голос его кипел от ярости.

В этот раз Лизель повторила подначку почти машинально.

⁴ Сочинение австрийского скрипача, дирижера и композитора Иоганна Штрауса-отца (1804–1849) – марш, написанный в честь чешского полководца Вацлава Радецкого (1766–1858).

– Пфиффикус! – подхватила она, мигом усваивая подобающую жестокость, которой, судя по всему, требует детство. Свистела она из рук вон плохо, но совершенствоваться было некогда.

Старик с воплями погнался за ними. Начав с «гешайссена»⁵, он быстро перешел к словам покрепче. Сперва он метил только в мальчишку, но дело скоро дошло и до Лизель.

– Шлюха малолетняя! – заорал он. Слово шибануло Лизель по спине. – Я тебя тут раньше не видел!

Представьте – назвать шлюхой десятилетнюю девочку. Таков был Пфиффикус. Все единодушно соглашались, что они с фрау Хольцапфель составили бы премилую парочку.

– А ну иди сюда! – Это были последние слова, которые услышали на бегу Лизель и Руди. Не останавливались они до самой Мюнхен-штрассе.

– Пошли, – сказал Руди, когда они немного отдышались. – Вон туда, недалеко!

Он привел ее к «Овалу Губерта», где произошла история с Джесси Оуэнзом, и они молча встали, руки в карманы. Перед ними тянулась беговая дорожка. Дальше могло быть только одно. И Руди начал.

– Сто метров! – подначил он Лизель. – Спорим, я тебя перегоню!

Лизель такого не стерпела:

– Спорим, не перегонишь!

– На что ты споришь, свинюха малолетняя? У тебя что, есть деньги?

– Откуда? А у тебя?

– Нет. – Зато у Руди возникла идея. В нем заговорил донжуан. – Если я перегоню, я тебя поцелую! – Он присел и стал закатывать брюки.

Лизель встревожилась, чтоб не сказать больше.

– Ты зачем это хочешь меня поцеловать? Я же грязная!

– А я нет? – Руди явно не понимал, чем делу может помешать капелька грязи. У каждого из них период между ваннами был примерно на середине.

Лизель подумала об этом, разглядывая тощие ножки соперника. Почти такие же, как у нее. Никак ему меня не перегнать, подумала она. И серьезно кивнула. Уговор.

– Если перегонишь – поцелуешь. А если я перегоню, я на ворота не встаю на футболе.

Руди подумал.

– Нормально.

И они ударили по рукам.

Вокруг все было темно-небесным и смутным, сыпались мелкие осколки дождя.

Дорожка оказалась грязнее, чем с виду.

Бегуны приготовились.

Вместо стартового выстрела Руди подбросил в воздух камень. Когда упадет – можно бежать.

– Я даже не вижу, где финиш, – пожаловалась Лизель.

– А я вижу?

Камень врезался в грязь.

Они побежали – рядом, толкаясь локтями и пытаясь забежать вперед другого. Скользящая дорожка чавкала под ногами, и метров за двадцать до конца оба разом повалились на землю.

– Езус, Мария и Йозеф! – заскулил Руди. – Я весь в говне!

– Это не говно, – поправила Лизель, – это грязь, – хотя не была так уж уверена. Они проехали еще метров пять к финишу. – Ну что, ничья?

Руди оглянулся – сплошь острые зубы и выпученные синие глаза. Пол-лица раскрашено грязью.

⁵ От нем. Geh' scheissen – эд.: высерок.

- Если ничья, мне же все равно положен поцелуй?
- Еще чего! – Лизель поднялась и стала отряхивать грязь с курточки.
- Я тебя не поставлю на ворота.
- Подавись своими воротами.

На обратном пути на Химмель-штрассе Руди предупредил:

- Когда-нибудь, Лизель, ты сама до смерти захочешь со мной целоваться.

Но Лизель знала другое.

Она дала клятву.

Никогда в жизни она не станет целовать этого жалкого грязного свинуха, и уж точно не станет сегодня. Сейчас надо заняться делами поважнее. Она оглядела свои доспехи из грязи и огласила очевидное:

- Она меня убьет.

«Она» – это, конечно, была Роза Хуберман, известная также как Мама, – и она впрямь едва не убила. Слово «свинуха» по ходу свершения наказания звучало без продыху. Роза измесила ее в фарш.

ПРОИСШЕСТВИЕ С ДЖЕССИ ОУЭНЗОМ

Как знаем мы оба, Лизель на Химмель-штрассе еще не было, когда Руди свершил свой детский позорный подвиг. Но стоило оглянуться в прошлое, и ей казалось, будто она все видела своими глазами. Ей почти удавалось узнать себя в толпе воображаемых зрителей. О подвиге ей не рассказывал никто, но Руди компенсировал с лихвой, поэтому, когда Лизель наконец решила вспомнить свою историю, происшествие с Джесси Оуэнзом стало такой же ее главой, как и все, что девочка наблюдала сама.

То был 1936 год. Олимпийские игры. Олимпиада Гитлера.

Джесси Оуэнз только что выиграл четвертую золотую медаль, завершив эстафету 4 × 100 метров. По миру пошли толки о том, что он недочеловек, потому что чернокожий, и Гитлер отказался пожать ему руку. В Германии даже самые отъявленные расисты дивились успехам Оуэнза, и слава о его рекорде просочилась сквозь щели. Никто не впечатлился сильнее Руди Штайнера.

Пока вся семья толкалась в гостиной, Руди выскользнул за дверь и двинулся на кухню. Нагребши из печи угля, наполнил им всю невеликость своих горстей.

- Вот! – Руди улыбнулся. Приступим.

Он мазал уголь ровно и толсто, пока не выкрасился в черное весь. Даже волосам досталось.

Руди полубезумно улыбнулся своему отражению в окне, а потом в одних трусах и майке тихонько умыкнул братнин велик и покатил к «Овалу Губерта». В кармане он спрятал пару кусков угля про запас – на тот случай, если краска с него где-нибудь облезет.

В мыслях Лизель луна в тот вечер была пришта к небу. А вокруг пристроены тучи.

Ржавый велик врезался в ограду «Овала Губерта», и Руди перелез на стадион. На другой стороне он хило затрусил к началу стометровки. Приободрившись, неуклюже выполнил несколько разминочных упражнений. Выковырял в шлаке стартовую колодку.

Дождаясь своего мига, топтался рядом, собирался с духом под небом тьмы, а луна и тучи наблюдали за ним – пристально.

– Оуэнз в хорошей форме, – повел комментарий Руди. – Возможно, это его величайшая победа за все...

Он пожал воображаемые руки остальных спортсменов и пожелал соперникам удачи, пусть даже и знал наперед. Им ничего не светит.

Стартер дал сигнал «на старт». На каждом квадратном сантиметре вокруг дорожки

«Овала Губерта» материализовалась толпа. Все выкрикивали одно. Толпа скандировала имя Руди Штайнера, а звали его Джесси Оуэнз.

Все замерло.

Босые ноги Руди сцепились с землей. Он осязал ее – стиснутую между пальцами.

По сигналу «внимание» Руди принял низкий старт – и вот выстрел пробил в ночи дырку.

Первую треть дистанции все шли примерно вровень, но это было недолго, пока угольный Оуэнз не выдвинулся вперед и не пошел в отрыв.

– Оуэнз впереди! – звучал пронзительный крик Руди, мчавшегося по пустынной прямой прямо в бурные овации олимпийской славы.

Он даже почувствовал, как ленточка рванулась пополам на его груди, когда он промчался сквозь нее на первое место. Самый быстрый человек на свете.

И только на круге почета случилась неприятность. В толпе у финишной линии, как ночное страшилище, стоял отец. Ну, точнее, как страшилище в пиджаке. (Уже упоминалось, что отец Руди был портным. На улице его редко видели без пиджака и галстука. В этот раз на нем был только пиджак и незаправленная рубашка.)

– Was ist los? – сказал он сыну, когда тот предстал перед ним во всей своей угольной славе. – Что это за чертовщина? – Толпа исчезла. Подул ветерок. – Я спал в кресле, а тут Курт заметил, что тебя нет. Тебя все ищут.

В нормальных обстоятельствах герр Штайнер был отменно вежливым человеком. Обнаружить, что один из твоих детей летним вечером весь перемазался углем, нормальными обстоятельствами он не считал.

– Парень чокнулся, – пробормотал он, хотя всегда понимал, что если у тебя шестеро, что-то в таком роде обязательно случится. По крайней мере один должен оказаться непутевым. И вот он стоит и смотрит на этого непутевого, ожидая объяснений. – Ну?

Тяжело дыша, Руди согнулся и уперся руками в колени.

– Я был Джесси Оуэнз.

Сказал он так, будто это самое обычное занятие на свете. И в его тоне даже звучало что-то такое, будто дальше подразумевалось: «Какого черта, разве не понятно?» Впрочем, тон этот пропал, едва Руди заметил, что под отцовскими глазами выструган глубокий недосып.

– Джесси Оуэнз? – Человека того склада, какой был у герра Штайнера, назвать можно очень деревянным. Голос у него угловатый и верный. Тело – длинное и тяжелое, как из дуба. Волосы – как щепки. – И что он?

– Да ты знаешь, пап, – черное чудо.

– Я тебе покажу черного чуда! – И Штайнер схватил сына за ухо двумя пальцами.

Руди сморщился.

– Ай, да больно же.

– Да ну? – Отца больше заботил вязкий угольный порошок, пачкавший пальцы. Да он, выходит, выкрасился везде, подумал отец. Господи, даже в ушах уголь. – Пошли.

По дороге домой герр Штайнер решил поговорить с мальчиком о политике – причем со всей серьезностью. Руди поймет все только через несколько лет – когда уже поздно и ни к чему будет все это понимать.

***** ПРОТИВОРЕЧИВАЯ ПОЛИТИКА *****

АЛЕКСА ШТАЙНЕРА

***Пункт первый:* Алекс был членом фашистской партии, но не питал ненависти к евреям – да и ни к кому другому, если уж на то пошло.**

Пункт второй: Втайне, однако, он не мог не испытывать какой-то порции удовлетворения (или хуже – радости!), когда из игры вывели лавочников-евреев, – пропаганда информировала его, что нашествие еврейских портных, которые отнимут у него всю клиентуру, – это лишь вопрос времени.

Пункт третий: Но значит ли это, что их надо изгнать совсем?

Пункт четвертый: Семья. Разумеется, он должен делать все, что в его силах, чтобы содержать ее. Если для этого нужно быть в Партии, значит, нужно быть в Партии.

Пункт пятый: Где-то там, в глубине, у него свербело в сердце, но он велел себе не расчесывать. Он боялся того, что может оттуда вытечь.

Сворачивая из улицы в улицу, они вышли на Химмель-штрассе, и Алекс сказал: – Сын, нельзя расхаживать по улицам, выкрасившись черным, слышишь?

Руди заинтересовался – и растерялся. Луну уже отпорол, и она свободно могла идти и вверх, и вниз, и капать мальчику на лицо, которое стало застенчивым и хмурым, как и его мысли.

– Почему нельзя, папа?

– Потому что тебя заберут.

– Зачем?

– Затем что не надо хотеть стать черными, или евреями, или кем-то, кто... не наш.

– А кто это – евреи?

– Знаешь моего старейшего заказчика, герра Кауфмана? У которого мы тебе покупали ботинки?

– Да.

– Вот он еврей.

– Я не знал. А чтобы быть евреем, надо платить? Нужно разрешение?

– Нет, Руди. – Одной рукой герр Штайнер вел велосипед, другой – Руди. Вести еще и разговор он затруднялся. Он еще не ослабил пальцев на ухе сына. Он позабыл, что держит его за ухо. – Это как быть немцем или католиком.

– О. А Джесси Оуэнз – католик?

– Не знаю! – Тут он споткнулся о педаль велосипеда и выпустил ухо.

Немного они прошли молча, потом Руди сказал:

– Просто я хочу быть как Джесси Оуэнз, пап!

На сей раз герр Штайнер положил сыну ладонь на макушку и объяснил:

– Я знаю, сын, но у тебя прекрасные светлые волосы и большие надежно голубые глаза.

Ты должен быть счастлив, что оно так, понятно?

Но ничего не было понятно.

Руди ничего не понял, а тот вечер стал прелюдией к тому, чему суждено было случиться. Через два с половиной года от обувного магазина Кауфмана останется только битое стекло, а все туфли прямо в коробках полетят в кузов грузовика.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА НАЖДАЧКИ

У людей, наверное, бывают определяющие моменты – особенно в детстве. Для одних – происшествие с Джесси Оуэнзом. Для других – истерика с мокрой постелью:

Стоял конец мая 1939 - го, и вечер был как большинство других вечеров. Мама

потрясала утюжным кулаком. Папы не было дома. Лизель вытирала входную дверь и смотрела на небо над Химмель-штрассе.

В тот день прошел парад.

По Мюнхен-штрассе промаршировали коричневорубашечные активисты НСДАП (иначе известной как фашистская партия) – они гордо несли знамена и лица, воздетые высоко, будто на палках. Их голоса полнились песней, и пиком был слаженный рев «Deutschland über Alles». «Германия превыше всего».

Как всегда, им хлопали.

Пришпоренные, они шагали неведомо куда.

Люди стояли на улицах и глазели, иные – с жесткоруким салютом, другие – с ладонями, горящими от рукоплесканий. Кто-то держал лицо, искаженное гордостью и причастностью, как фрау Диллер, а где-то были вкрапления третьих лишних вроде Алекса Штайнера, который стоял, словно деревянная колода в форме человека, хлопая исполнителю и медленно. И прекрасно. Послушание.

Лизель стояла на тротуаре вместе с Папой и Руди. У Ганса Хубермана было лицо с опущенными шторами.

***** НЕКОТОРЫЕ ПОДСЧЕТЫ *****

**С 1933 года 90 % немцев выказывали решительную
поддержку Адольфу Гитлеру.
Остается еще 10 %, которые не выказывали.
К этим десяти принадлежал Ганс Хуберман.
Тому была своя причина.**

Ночью Лизель видела сны – как всегда. Сначала ей снилось коричневорубашечное шествие, но довольно скоро оно привело Лизель к поезду, и ее ждало всегдашнее открытие. Снова неподвижный взгляд брата.

Лизель с криком проснулась и тут же поняла, что на сей раз кое-что изменилось. Из-под простыней сочился запах, теплый и тошнотворный. Сначала Лизель хотела убедить себя, что не произошло ничего, но когда Папа подошел и обнял ее, Лизель заплакала и призналась ему на ухо.

– Папа, – прошептала она. – Папа. – И это было все. Наверное, он учуял.

Он осторожно поднял Лизель на руки и отнес в умывальную. А момент наступил через несколько минут.

– Убираем простыни, – сказал Папа, завел руку под матрас и потянул ткань – и тут что-то выскользнуло и со стуком упало. Черная книжка с серебряными буквами грохнулась на пол меж Гансовых ступней.

Ганс взглянул на нее сверху.

Взглянул на девочку, и та робко пожала плечами.

Потом он прочел заголовок – сосредоточенно, вслух:

– «Наставление могильщику».

Так вот как она называется, подумала Лизель.

Между ними теперь лежало пятно молчания. Мужчина, девочка, книга. Ганс поднял книгу и заговорил мягко, как вата.

***** РАЗГОВОР В ДВА ЧАСА НОЧИ *****

– Это твое?

– Да, Папа.

– Хочешь почитать?

И снова:

– Да, папа.

Усталая улыбка.

Металлические глаза, плаваются.

– Значит, давай будем читать.

Через четыре года, когда она станет делать записи в подвале, ей в голову придут две мысли о травме намоченной постели. Во-первых, она поймет, что ей ужасно повезло, что книгу обнаружил Папа. (К счастью, когда простыни стирали до этого, Роза заставляла Лизель саму и снимать, и стелить белье. «И поскорей там, свинюха! Думаешь, целый день возиться?») Во-вторых, она станет гордиться участием Ганса Хубермана в ее обучении. *Никто бы не подумал, – напишет она, – но читать меня научили не совсем в школе. Меня научил Папа. Люди думают, что он не так уж умен, и он по правде не очень быстро читает, но я скоро узнала, что слова и писание их однажды просто спасли ему жизнь. Или, по крайней мере, слова и человек, который научил его играть на аккордеоне...*

– Сначала неотложное, – сказал Ганс Хуберман в ту ночь. Застирал простыни и повесил сохнуть. – Ну вот, – сказал он, вернувшись. – Приступим к полуночному уроку.

Желтый свет весь дышал пылью.

Лизель сидела на холодных чистых простынях, пристыженная, ликующая. Мысль о намоченной постели грызла ее, но сейчас Лизель будет читать. Лизель будет читать книгу.

В ней поднялось волнение.

Засветились картины читающего десятилетнего гения.

Если бы все было так просто.

– Сказать по правде, – заранее оговорился Папа, – я и сам не такой уж хороший чтец.

Но неважно, что он читал медленно. Скорее уж, кстати, что скорость чтения у Папы ниже среднего. Глядишь, не будет очень уж досадовать, что девочка пока неумеха.

А все же сначала, когда Ганс Хуберман взял в руки книгу и перелистал страницы, казалось, что ему немного не по себе.

Он подошел и сел рядом с девочкой на кровать, откинулся назад, свесив углом ноги. Еще раз оглядел книжку и уронил ее на одеяло.

– А почему такая славная девочка захотела такое читать?

И снова Лизель пожала плечами. Если бы подмастерье читал полное собрание сочинений Гёте или еще кого-нибудь из корифеев, тогда перед ними сейчас лежала бы другая книга. Лизель попробовала объяснить.

– Я – когда... она лежала в снегу, и... – Тихие слова, скользнув с края постели, осыпались на пол, как мука.

Но Папа знал, что сказать. Он всегда знал, что сказать.

Он провел рукой по сонным волосам и сказал:

– Ладно, Лизель, дай мне тогда слово. Если я в ближайшее время помру, ты проследишь, чтобы меня правильно зарыли.

Та кивнула – очень искренне.

– Не пропустили бы главу шестую или пункт четыре из девятой главы. – Он засмеялся, а с ним – и виновница ночной стирки. – Ну, я рад, что мы договорились. Теперь можно и начать.

Папа уселся поудобнее; кости его скрипнули, как чесучие половицы.

– Пошла потеха!

Отчетливо в ночной тиши книга раскрылась – взметнула ветром.

Оглядываясь в прошлое, Лизель точно могла сказать, о чем думал тогда Папа, пробегая глазами первую страницу «Наставления могильщику». Оценив всю сложность текста, он тут же понял, что книжка далеко не идеальная. Там были слова, трудные даже для него.

Не говоря уже о мрачной теме. Что же до девочки, то ей вдруг страстно захотелось прочесть книжку – это желание она даже не пробовала понять. Может, где-то в глубине души хотела убедиться, что брата зарыли правильно. Что бы Лизель ни толкало, жажда ее была такой острой, какая только может быть у человека в десять лет.

Первая глава называлась «Первый шаг: правильный выбор инструментов». В кратком вступительном абзаце очерчивалась тема, которая будет раскрыта на следующих двадцати страницах. Описывались виды лопат, кирок, перчаток и так далее – а равно и насущная необходимость правильно о них заботиться. Рытье могил оказалось делом нешуточным.

Перелистывая страницы, Папа ясно чувствовал на себе глаза девочки. Она тянулась к нему взглядом и ждала, когда что-нибудь – все равно что – сорвется с его губ.

– На-ка! – Папа опять подвинулся и протянул книгу Лизель. – Посмотри на эту страницу и скажи, сколько слов здесь ты можешь прочитать.

Она посмотрела – и соврала:

– Примерно половину.

– Прочти мне какое-нибудь. – Но она, конечно, не смогла. Когда Папа велел ей показать все слова, которые она может прочесть и произнести их вслух, таких оказалось только три – три разных немецких предлога. Вообще же на странице было около двух сотен слов.

Дело хуже, чем я думал.

Лизель поймала его на этой мысли – секундной.

Папа подался вперед, встал на ноги и снова вышел из комнаты.

На этот раз, вернувшись, он сказал так:

– Знаешь, я придумал кое-что получше. – Папа держал в руке толстый малярный карандаш и пачку наждачной бумаги. – Начнем с азов. – Лизель не видела причин не согласиться.

В левом углу перевернутого листа наждачной бумаги папа нарисовал квадрат со стороной где-то в пару сантиметров и втиснул туда заглавную «А». В другом углу он поместил «а» строчную. Пока все отлично.

– А, – сказала Лизель.

– Что есть на «а»?

Она улыбнулась:

– Apfel.

Папа записал слово большими буквами и нарисовал под ним кривобокое яблоко. Он был маляр, не художник. Закончив с яблоком, он поднял глаза и сказал.

– Теперь Б!

Они двигались по алфавиту, и глаза у Лизель расширялись все шире. В школе, в подготовительном классе, она занималась тем же, но теперь все было лучше. Лизель – единственная ученица, и вовсе не великанша. И здорово смотреть на Папину руку, которой он пишет слова и медленно чертит простенькие рисунки.

– Ну, давай, Лизель, – сказал Папа, когда у девочки дальше пошли трудности. – Слово на букву С. Это просто. Ты меня разочаровываешь.

Она не могла придумать.

– Ну же! – Папин шепот дразнил ее. – Подумай о Маме!

И тут слово шлепнуло ее по лицу, как оплеуха. Невольная усмешка.

– СВИНЮХА! – выкрикнула Лизель, Папа расхохотался и тут же стих.

– Ш-ш, давай потише! – Но он все равно похихотал, записал слово и дополнил очередным рисунком.

*** ТИПИЧНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ ***

ГАНСА ХУБЕРМАНА



– Папа, – зашептала Лизель. – У меня нет глаз!
 Ганс потрепал девочку по волосам. Она попалась на его удочку.
 – С такой улыбкой, – сказал он, – тебе глаза и не нужны. – Обнял ее, потом снова посмотрел на картинку – и лицо у него было из теплого серебра. – Теперь Т.

Когда алфавит прошли и изучили с десятков раз, Папа потянулся и сказал.
 – Хватит на сегодня?
 – Еще несколько слов?
 Но Папа был тверд:
 – Хватит. Когда проснешься, я поиграю тебе на аккордеоне.
 – Спасибо, Папа.
 – Спокойно ночи. – Тихий односложный смешок. – Спокойной ночи, свинюшка.
 – Спокойной ночи, Папа.
 Папа встал, выключил свет, вернулся и сел на стул. В темноте Лизель не закрывала глаз. Она разглядывала слова.

ЗАПАХ ДРУЖБЫ

Уроки продолжались.
 В следующие несколько недель начала лета полуночные занятия шли после каждого страшного пробуждения. Простыни намокали еще дважды, но Ганс Хуберман лишь повторял свои решительные прачечные маневры и садился за работу: читать, рисовать, произносить. Тихие слова громко звучали в предутренний час.
 Однажды в четверг, в самом начале четвертого пополудни Мама велела Лизель собираться – помочь разнести стирку. У Папы же были другие мысли.
 Он вошел на кухню и сказал:
 – Прости, Мама, сегодня она с тобой не пойдет.
 Мама не потрудилась даже поднять глаза от узла с бельем.
 – Кто тебя спрашивает, засранец? Пошли, Лизель.
 – Она читает, – сказал Папа. Он вручил Лизель преданную улыбку и подмигнул. – Со мной. Я ее учу. Мы пойдем к Амперу – вверх по течению, где я учился играть на аккордеоне.
 Тут уж Роза не могла не обратить внимания.
 Она опустила белье на стол и рьяно распалила в себе надлежащий цинизм.
 – Что ты сказал?
 – Мне кажется, ты меня слышала, Роза.
 Мама рассмеялась:
 – Да какой ты, к чертям, учитель? – Картонная ухмылка. Слова поддых. – Будто сам путем читать умеешь, свинух.
 Кухня примолкла. Папа нанес ответный удар:
 – Мы разнесем за тебя твою стирку.

– Ты, грязный... – Роза смолкла. Слова застряли у нее во рту, пока она обдумывала дело. – Возвращайтесь засветло.
 – Мама, в темноте читать нельзя, – сказала Лизель.
 – Что такое, свинюха?
 – Ничего, Мама.
 Папа усмехнулся и навел на Лизель палец.
 – Книгу, наждачку, карандаш, – приказал он. – И аккордеон, – когда Лизель уже была за дверь. Вскоре они уже шагали по Химмель-штрассе – несли слова, музыку, стирку.

Пока дошли до фрау Диллер, несколько раз оборачивались посмотреть, стоит ли еще мама у калитки, следя за ними. Мама стояла. Один раз она крикнула:

– Лизель, держи мешок ровно! Не помни белье!
 – Да, Мама!
 Еще через несколько шагов:
 – Лизель, ты тепло одета?!
 – Что, Мам?
 – Saumensch dreckiges, никогда ничего не слышишь! Ты тепло оделась?! К вечеру освежает!

За углом Папа наклонился завязать шнурок.
 – Лизель, – попросил он, – не свернешь мне самокрутку?
 Ничто бы не доставило Лизель большего удовольствия.

Когда разнесли белье, снова направились к реке Ампер, которая огибала город. Она катилась мимо, устремляясь к Дахау, концентрационному лагерю.

На реке был дощатый мост.

Не доходя моста метров тридцать, Лизель с Папой сели в траву – писали слова и вслух читали их, а когда начало темнеть, Ганс вынул аккордеон. Лизель смотрела на него и слушала, и все-таки не сразу заметила растерянность, написанную на его лице в тот вечер, пока он играл.

*** ПАПИНО ЛИЦО ***

**Оно блуждало и размышляло,
 но не выдавало никакого ответа.
 Пока нет.**

В нем была какая-то перемена. Легкий сдвиг.

Лизель замечала, но не осознавала этого до той поры, пока не сошлись все концы. Она не видела, что, играя, Папа что-то выискивает, потому что понятия не имела, что аккордеон Ганса Хубермана – это история. В скором будущем история эта прибудет на Химмель-штрассе, 33, в глухой предутренний час, со взъерошенными плечами и в дрожащей куртке. Она принесет чемоданчик, книгу и два вопроса. История. История после истории. История *внутри* истории.

А в тот момент, насколько Лизель было ведомо, история шла только одна, и ей она весьма нравилась.

Лизель, растянувшись, устроилась в широких объятьях травы.
 Закрыла глаза, и слух ее ловил ноты.

Были, конечно, и трудности. Несколько раз Папа чуть ли не орал на нее.

– Ну же, Лизель, – говорил он. – Ты знаешь это слово, ты же знаешь! – Именно когда дело, казалось, текло как по маслу, где-нибудь вдруг появлялся затор.

Если была хорошая погода, после обеда они шли на Ампер. В плохую – в подвал. В основном из-за Мама. Поначалу они пробовали читать на кухне, но там было никак

нельзя.

– Роза, – однажды заговорил с женой Ганс. Его слова спокойно вклинились в одну из Розиных тирад. – Ты можешь сделать мне одолжение?

Роза посмотрела на него от плиты:

– Что?

– Я тебя прошу. Я тебя умоляю, пожалуйста, закрой рот хотя бы на пять минут?

Можете представить себе, что тут было.

В итоге Папа и Лизель оказались в подвале.

Освещения там не было, так что они брали керосиновую лампу, и постепенно, между школой и домом, от реки до подвала, от ясных дней до хмурых Лизель училась читать и писать.

– Скоро, – говорил ей Папа, – ты сможешь читать эту ужасную могильную книгу с закрытыми глазами.

– И меня переведут из карликового класса.

Она произнесла эти слова, как мрачная хозяйка.

На одном из подвальных занятий Папа решил обойтись без наждачной бумаги (она быстро заканчивалась) и вынул малярную кисть. В доме Хуберманов не было никакой роскоши, но там скопился немалый излишек краски, и она более чем пригодилась для обучения Лизель. Папа говорил слово, а Лизель должна была произнести его по буквам, а потом написать на стене, если правильно схватила. Через месяц стену перекрасили. Свежая цементная страница.

Иными вечерами после занятий в подвале Лизель, скрючившись, сидела в ванне и слышала неизменные речи с кухни.

– От тебя воняет, – говорила Роза Гансу. – Табаком и керосином.

Сидя в воде, Лизель представляла этот запах, начертанный на Папиной одежде. Прежде всего это был запах дружбы – Лизель находила его и на своем теле. Она любила этот запах. Лизель нюхала свою руку и улыбалась, а вода в ванне остывала.

ЧЕМПИОН ШКОЛЬНОГО ДВОРА В ТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ

Лето 1939 года спешило – или, может, это спешила Лизель. Днями она играла в футбол с Руди и другими ребятами с Химмель-штрассе (это круглогодичное занятие), с Мамой разносила стирку по городу и изучала слова. Лето прошло, будто за несколько дней.

В последующие дни года произошло два события.

*** С СЕНТЯБРЯ ПО НОЯБРЬ 1939 г. ***

1. Начинается Вторая мировая война.

2. Лизель Мемингер становится чемпионом школьного двора в тяжелом весе.

Первые дни сентября.

Холодным выдался в Молькинге тот день, когда началась война и у меня прибавилось работы.

Весь мир говорил об этом событии.

Газетные заголовки упивались им.

В приемниках Германии ревел голос фюрера. Мы не сдадимся. Мы не успокоимся. Победа будет за нами. Наше время пришло.

Началось немецкое вторжение в Польшу, люди повсюду собирались послушать новости. Мюнхен-штрассе, как любая другая главная улица в Германии, от войны ожила. Запах, голос. Карточки ввели за несколько дней до того – надпись на стене, – а теперь об этом сообщили официально.

Англия и Франция объявили Германии войну. Если сказать словами Ганса Хубермана:

Пошла потеха.

День объявления войны у Папы был довольно удачным – подвернулась кое-какая работа. По дороге домой он подобрал брошенную газету и не стал останавливаться и совать ее в тележку между банками с краской, а свернул и положил за пазуху. К тому времени, как Папа оказался дома, пот перевел типографскую краску на кожу. Газета упала на стол, но сводка новостей осталась припилена и к Папиной груди. Наколка. Распахнув рубашку, он смотрел на себя в неуверенном кухонном свете.

– Что там написано? – спросила его Лизель. Она переводила взгляд туда-сюда – от черных разводов на Папиной коже к газете.

– ГИТЛЕР ЗАХВАТЫВАЕТ ПОЛЬШУ, – ответил он. И с этим рухнул на стул. – Deutschland über Alles, – прошептал он, и патриотизма в его голосе не было ни грана.

И опять то же лицо – его аккордеонное лицо.

Это было начало одной войны.

Лизель скоро очутится на другой.

Примерно через месяц после начала занятий в школе Лизель перевели в надлежащий ее возрасту класс. Вы можете подумать, что из-за успехов в чтении, но это не так. При всех успехах, читала она пока с большим трудом. Фразы были разбросаны повсюду. Слова дурачили. Причина ее перевода, скорее, имела отношение к тому, что в классе с младшими детьми Лизель стала мешать. Отвечала на вопросы, заданные другим ученикам, выкрикивала с места. Несколько раз в коридоре она получала то, что называлось Watschen (произносится «варчен»).

*** ТОЛКОВАНИЕ ***

Watschen = хорошая взбучка

Учительница, которая в придачу оказалась монахиней, поднимала Лизель, сажала на отдельный стул и приказывала держать рот закрытым. С другого конца класса Руди смотрел на нее и махал рукой. Лизель махала в ответ и старалась не улыбнуться.

Дома они с Папой уже довольно продвинулась в чтении «Наставления могильщику». Обводили слова, которых Лизель не могла понять, и на другой день несли их в подвал. Лизель думала, этого хватит. Этого не хватило.

Где-то в начале ноября в школе давали проверочные задания. Одно – по чтению. Каждого ученика заставляли выйти перед классом и читать выбранный учителем текст. Стояло морозное, но яркое от солнца утро. Дети щурились до хруста. Светился ореол вокруг неумолимого жнеца – сестры Марии. (Кстати – мне нравится это человеческое представление о неумолимом жнеце. Мне нравится коса. Она меня забавляет.)

В отяжелевшем от солнца классе в случайном порядке щелкали фамилии:

– Вальденхайм, Леман, Штайнер.

Все они вставали и читали, каждый в меру способностей. Руди читал на удивление хорошо.

Пока шла проверка, в душе Лизель мешались жаркое предвкушение и мучительный страх. Ей отчаянно хотелось испытать свои силы, выяснить наконец, как у нее идет дело. По плечу ли будет ей? Сможет ли она хотя бы приблизиться к Руди и остальным?

Всякий раз, когда сестра Мария заглядывала в список, нервы струной натягивались у Лизель в ребрах. Начинаясь струна в животе, а тянулась вверх. И скоро закручивалась вокруг шеи, толстая, как веревка.

Вот Томми Мюллер закончил свое неважное выступление, и Лизель оглядела класс. Всех остальных уже поднимали. Осталась только она.

– Отлично. – Сестра Мария кивнула, углубившись в список. – Всех проверила.

Как?

– Нет!

Голос практически возник сам собой в другом углу комнаты. На конце голоса был лимонноволосый мальчишка, чьи коленки в штанинах стукались друг об друга под столом. Вытянув руку вверх, он сказал:

– Сестра Мария, кажется, вы пропустили Лизель!

Сестру Марию.

Это не впечатлило.

Она шлепнула папку на стол перед собой и с одышливым неодобрением оглядела Руди. Почти уныло. За что, сокрушалась она, приходится ей возиться с Руди Штайнером? Он просто не может держать рот закрытым. За что, Господи, за что?

– Нет, – сказала она решительно. Ее брюшко подалось вперед вместе с остальной сестрой Марией. – Боюсь, Руди, Лизель еще не сумеет. – Учительница бросила взгляд в сторону – за подтверждением. – Она почитает мне позже.

Девочка откашлялась и заговорила тихо, но вызывающе:

– Я могу и сейчас, сестра Мария. – Большинство детей наблюдали молча. Некоторые явили чудесное детское искусство хихиканья.

Терпение сестры Марии лопнуло.

– Нет, не можешь!.. Ты куда?

Потому что Лизель встала из-за парты и медленно, на жестких ногах уже шагала к доске. Она взяла книгу и открыла ее наугад.

– Ладно, – сказал сестра Мария. – Хочешь сдавать? Начинай.

– Да, сестра.

Бросив быстрый взгляд на Руди, Лизель опустила глаза и побежала ими по строчкам.

Когда она снова подняла взгляд, стены растянулись в разные стороны, а потом схлопнулись вместе. Всех учеников смяло прямо на ее глазах, и в лучезарный миг Лизель представила, как читает всю страницу в безупречном и полном беглости торжестве.

*** КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО ***

представила

– Давай, Лизель!

Руди нарушил молчание.

Книжная воришка снова посмотрела вниз, на слова.

Давай. Теперь Руди произнес это беззвучно. Давай, Лизель.

Кровь сделалась громче. Строчки поплыли.

Белая страница внезапно оказалась написанной на чужом наречии, и никакой пользы не было от слез, что вдруг застили глаза. Теперь уже Лизель не видела ни одного слова.

Да еще солнце. Чтоб оно пропало. Оно вломилось в окно – стекло повсюду – и светило прямо на никчemuшную девочку. И кричало ей в лицо:

– Может, книжку ты и украла, да читать не умеешь!

Ее осенило. Выход есть.

Вдох-выдох, вдох-выдох – и она принялась читать, но не по книге, что лежала перед

ней. А кусок из «Наставления могильщику». Глава третья: «В случае снега». Лизель выучила ее с Папиного голоса.

– «В случае снега, – выводила она, – надо позаботиться, чтобы лопата была крепкой. Копать нужно глубоко, лениться нельзя. Нельзя халтурить». – Лизель втянула новый ком воздуха. – «Разумеется, легче было бы подождать, пока не потеплеет, и тогда...»

На этом и кончилось.

Книгу вырвали у нее из рук, и было сказано:

– Лизель – коридор!

Получая несильную взбучку, Лизель между взмахами секущей монашеской руки слышала, как в классе все смеются. И видела их. Всех этих смятых детей. Скалятся и смеются. Залитые солнцем. Смеялись все, кроме Руди.

На перемене ее дразнили. Мальчик по имени Людвиг Шмайкль подошел с книгой в руках.

– Эй, Лизель, – сказал он. – У меня тут одно слово не выходит. Можешь прочесть? – И он рассмеялся – самодовольным смехом десятилетнего. – Dummkopf – тупица!

Потянулись цепочкой облака, большие и неуклюжие, а другие дети окликали ее, наблюдая, как она заводится.

– Не слушай их, – посоветовал Руди.

– Тебе легко говорить. Это не ты тупица.

Под конец перемены счет подначек достиг девятнадцати. На двадцатой Лизель взорвалась. Это был Шмайкль, вернувшийся за добавкой.

– Ну чего ты, Лизель! – Он сунул книгу ей под нос. – Помоги, а?

И Лизель помогла – да еще как.

Она встала и взяла у него книгу, и – пока он улыбался через плечо другим мальчишкам – швырнула книгу на пол и пнула его изо всех сил куда-то в промежность.

Да, как вы можете представить, Людвиг Шмайкль, конечно, сложился пополам и, складываясь, еще получил в ухо. А когда упал, на него сели. И когда на него сели, он был отшлепан, оцарапан и изничтожен девочкой, совершенно ослепленной гневом. Кожа у него была такая теплая и мягкая. А ее кулаки и ногти, при том что малы, были так угрожающе тверды.

– Ты, свинух! – Ее голос тоже обдирал. – Ты засранец. А ну скажи по буквам «засранец»!

О, какие облака толклись и глупо собирались в небе.

Огромные жирные облака.

Темные и пухлые.

Сталкивались. Извинялись. Текли, пристраивались друг подле друга.

Дети сбежались, мигом, как... ну, как дети, привлеченные дракой. Солянка из рук и ног, из воплей и выкриков, все гуще окружала схватку. Все смотрели, как Лизель Мемингер задает Людвигу Шмайклю небывалую трепку.

– Езус, Мария и Йозеф, – взвизгнув, выкрикнула какая-то девочка, – она его убьет!

Лизель не убила.

Но вполне могла.

Вообще-то ее остановило только одно – жалкое дергающееся лицо Томми Мюллера. Все еще затопленная адреналином, Лизель заметила на этом лице улыбку – такую нелепую, что тут же потянула Томми на пол и стала избивать теперь его.

– Ты чего? – заскулил Томми, и тогда, после третьей или четвертой оплеухи и вытекшей из носа мальчишки струйки крови, Лизель остановилась.

Стоя на коленях, она заглатывала воздух и слушала доносившиеся снизу стоны. Окинула взглядом вихрь лиц слева и справа и объявила:

– Я не тупица!

Никто не возразил.

И лишь когда все вернулись в класс и сестра Мария заметила состояние Людвиг Шмайкля, схватка получила итог. Подозрение пало сначала на Руди, потом на нескольких других мальчиков. Они постоянно заедались со Шмайклем.

– Руки, – поступил приказ каждому, но ни одной подозрительной пары не обнаружилось. – Вот так раз, – пробормотала сестра Мария. – Не может быть.

Потому что, разумеется, едва Лизель вышла вперед и показала руки, они все были в Людвиге Шмайкле, уже буро засыхавшем.

– Коридор, – объявила сестра, во второй раз за день. Точнее, во второй раз за час.

На сей раз это не был малый коридорный «варчен». И не средний. На сей раз это был всем «варченам» «варчен», прут обжигал раз за разом, так что Лизель целую неделю больно будет сидеть. И ни одного смешка в классе. Скорее, безмолвный страх вслушивания.

После занятий Лизель возвращалась домой с Руди и остальными детьми Штайнеров. На подходе к Химмель-штрассе чехардой мыслей на девочку накатила пика отчаяния: проваленное чтение из «Наставления могильщику», изничтожение семьи, страшные сны, все унижения дня – и она расплакалась, съездившись в канаве. К этому все и шло.

Руди стоял рядом, глядя сверху вниз.

Пошел дождь, славный и обильный.

Курт Штайнер окликнул их, но ни один не пошевелился. Одна сидела на больном месте, под сыплющимися кусками дождя, другой стоял рядом, ждал.

– Ну почему же он умер? – спрашивала Лизель, но Руди ничего не делал; ничего не отвечал.

Когда Лизель наконец выплакалась и поднялась на ноги, Руди обнял ее одной рукой, как делают закадычные друзья, и они зашагали домой. Никаких просьб о поцелуе. Ничего подобного. Можете полюбить Руди за это, если хотите.

Только не пинай меня по яйцам.

Вот что он думал, только не сказал вслух. Прошло почти четыре года, прежде чем он поделился с Лизель этой информацией.

А сейчас Руди и Лизель под дождем вышли на Химмель-штрассе.

Он был чокнутым, который выкрасил себя углем и покорял мир.

Она была книжной воришкой, оставшейся без слов.

Но поверьте, слова уже были в пути, и когда они придут, Лизель возьмет их в руки, как облака, и выжмет досуха, как дождь.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ «ПОЖАТИЕ ПЛЕЧ»

с участием:

девочки, сделанной из тьмы –

радости самокруток –

уличного обходчика – нескольких

мертвых писем – дня рождения гитлера –

стопроцентно чистого немецкого пота –

врат воровства –

и книги огня

ДЕВОЧКА, СДЕЛАННАЯ ИЗ ТЬМЫ

*** НЕМНОГО СТАТИСТИКИ ***

Первая украденная книга: 13 января 1939 г.

Вторая украденная книга: 20 апреля 1940 г.

Период между названными
украденными книгами: 463 дня

Если бы кто отнесся к этому легкомысленно, он сказал бы, что для продолжения ведь всего-то и понадобилось, что немного огня и немного человеческих воплей. Сказал бы, что Лизель Мемингер этого хватило, чтобы узнать час новой кражи, пусть даже краденая книга дымилась у нее в руках. И даже жгла ребра.

Однако есть одна сложность:

Не время быть легкомысленным.

Не время смотреть краем глаза, оборачиваться или проверять плиту – потому что, когда книжная воришка украла вторую книгу, не только многие предпосылки сошлись в жажде этой кражи, но сам акт воровства спустил пружину грядущих событий. Вторая кража откроет воришке источник дальнейшего книжного воровства. Она вдохновит Ганса Хубермана на план, как можно помочь еврейскому драчуну. И лишний раз покажет *мне*, что случай всегда ведет к следующему случаю, точно как риск несет в себе новый риск, жизнь – новую жизнь, а смерть – новую смерть.

Можно сказать, это была судьба.

Видите ли, кто-то может сказать, что немецкий фашизм получился от антисемитизма, не в меру ретивого вождя и нации озлобленных баранов, но все это ничего бы не дало без любви немцев к одному интересному занятию:

Жечь.

Немцы любили что-нибудь жечь. Лавки, синагоги, Рейхстаги, дома, личные вещи, умерщвленных людей и, само собой, книги. Хороший костер из книг всегда был им по душе – а тому, кто неравнодушен к книгам, это давало возможность наложить руки на какие-то издания, которых иначе никак было не занять. Среди тех, за кем *водилось* такое пристрастие, была, как мы знаем, худенькая девочка по имени Лизель Мемингер. Пусть она ждала 463 дня, но дело того стоило. В конце дня, вместившего в себя много волнений, много очаровательной гадости, одну окровавленную лодыжку и оплеуху от родной руки, Лизель Мемингер заполучила свою вторую историю успеха. «Пожатие плеч». Это была синяя книга с красными письменами, вытисненными на обложке, и еще под заглавием была маленькая картинка – кукушка, тоже красная. Оглядываясь потом в прошлое, Лизель не стыдилась, что украла эту книгу. Наоборот, больше всего на крохотный омут *события* в животе походила гордость. И еще жажду украсть ту книгу в ней распяляли гнев и темная ненависть. По сути дела, 20 апреля – в день рождения фюрера, – выхватывая книгу из груды дымящихся углей, Лизель была девочкой, сделанной из тьмы.

Конечно, возникает вопрос – почему?

На что ей было гневаться?

Что произошло в последние четыре или пять месяцев, чтобы выплеснуться такими эмоциями?

Если коротко, ответ переносится с Химмель-штрассе к фюреру, к недостижимому местонахождению ее настоящей матери и обратно.

Как и почти любое отчаяние, все началось с видимого благополучия.

РАДОСТЬ САМОКРУТОК

К концу 1939 года Лизель довольно неплохо освоилась в Молькинге. Ей еще снился мертвый братик, и она тосковала о матери, но теперь ей было чем утешиться.

Она любила своего Папу – Ганса Хубермана – и даже приемную мать, при всех ее обзывательствах и словесных нападках. Любила и ненавидела лучшего друга Руди Штайнера, что совершенно нормально. И радовалась тому, что, хоть и опозорилась на уроке, чтение и письмо у нее несомненно улучшаются и скоро она приблизится к чему-то более-менее достойному. Все это давало ей, по крайней мере, какое-никакое удовлетворение и скоро достроится до того, что забрезжит идея *Счастья*.

***** КЛЮЧИ К СЧАСТЬЮ *****

- 1. Дочитанное «Наставление могильщику».**
- 2. Спасение от гнева сестры Марии.**
- 3. Две новые книги в подарок на Рождество.**

17 декабря.

Лизель хорошо запомнила дату, потому что это было ровно за неделю до Рождества.

Как всегда, еженощное страшное видение прервало сон, и ее вызволил Ганс Хуберман. Его руки легли на мокрую от пота ткань пижамы.

– Поезд? – спросил он шепотом.

Лизель подтвердила:

– Поезд.

Она заглатывала воздух, пока не успокоилась, а затем они приступили к чтению одиннадцатой главы «Наставления могильщику». В самом начале четвертого они закончили главу, и осталась только последняя – «Уважение к кладбищу». Папа – серебряные глаза припухли от усталости, а лицо обито щетиной – закрыл книгу и стал ждать остатков сна. Но их ему не досталось.

Не прошло и минуты, как погасили свет, а Лизель заговорила с ним через темноту:

– Папа?

В ответ – лишь какой-то звук, горлом.

– Папа, ты не спишь?

– Да.

Поднялась на локте:

– Может, дочитаем книжку, а?

Длинный выдох, скрежет руки по щетине, потом – свет. Папа открыл книгу и начал.

– «Глава двенадцатая: Уважение к кладбищу».

Читали до самого утра, обводя и выписывая слова, которых Лизель не понимала, и переворачивали страницы, пока не рассвело. Несколько раз папа чуть не заснул, поддавшись зудящей усталости глаз и никнувшей тяжести в голове. Всякий раз Лизель ловила его на этом, но в ней не было ни бескорыстия дать ему уснуть, ни наглости обидеться. Она была девочкой, которой надо взобраться на гору.

Наконец, когда темнота за окном начала понемногу разламываться, они закончили. Последняя фраза была такая:

От лица Баварской ассоциации кладбищ выражаем надежду, что развлекли вас и просветили в том, что касается работы, техники безопасности и обязанностей могильщицкого дела. Желаем вам всяческих успехов в вашей карьере в похоронном искусстве и надеемся, что наша книга вам в чем-то поможет.

Книга захлопнулась, и они искоса переглянулись. Заговорил Папа:

– Осилили, а?

Лизель, до плеч замотавшись в одеяло, взяв книгу в руку, разглядывала черную обложку с серебряным тиснением. Она кивнула – с пересохшим ртом и по-утреннему голодная. Одно из тех мгновений абсолютной усталости и преодоления не только урочной

работы, но и ночи, что преграждала путь.

Папа потянулся, сжав кулаки и до скрежета зажмурил глаза, а утро не посмело оказаться хмурым. Папа и Лизель встали и отправились на кухню – и сквозь туман и замерзшее окно увидели розовые полосы света на снежных берегах крыш Химмель-штрассе.

– Смотри, какие краски, – сказал Папа. Трудно не проникнуться к человеку, который не только замечает краски, но и говорит ими.

Лизель еще держала книгу в руках. Она стиснула ее крепче, когда снег окрасился в оранжевый. На одной из крыш Лизель увидела мальчишку – он сидел и смотрел на небо.

– Его зовут Вернер, – заметила она. Слова выскочили сами, невольно.

Папа сказал:

– Да.

Проверок по чтению школе пока больше не было, но Лизель, постепенно набираясь уверенности, однажды утром перед уроком подобрала чей-то забытый учебник – испробовать, удастся ли почитать в нем без запинки. Она сумела прочесть там все слова, но все равно еле плелась в сравнении с любым из одноклассников. Уметь почти, поняла она, гораздо легче, чем уметь на самом деле. Но не все сразу.

Однажды в школе Лизель так и подмывало стащить книжку с классной полки, но, сказать по совести, предвидение нового «варчена» в коридоре от рук сестры Марии все-таки отпугнуло ее. И вдобавок у Лизель не было настоящей охоты брать книги из школы. Скорее всего, причиной неохоты был тот сокрушительный ноябрьский провал, но тут Лизель не знала точно. Только знала, что охоты нет.

В классе она не разговаривала.

Она даже взглянуть боялась не туда.

Установилась зима, и Лизель больше не попадалась сестре Марии под горячую руку – предпочитала наблюдать, как в коридор выводят других, и те получают заслуженную награду. Звуки борений очередного ученика в коридоре не особо веселили, но то, что там *кто-то другой*, если не утешало, то, по крайней мере, приносило облегчение.

Когда школа ненадолго остановилась на *Weihnachten*⁶, Лизель даже сподобилась на «с Рождеством» для сестры Марии, прежде чем отправиться по своим делам. Понимая, что Хуберманы, в сущности, нищие, и, едва успевают завестись какие-то деньги, как уже надо платить долги и квартплату, Лизель не ждала никакого подарка. Разве что еда будет по-вкуснее. К ее удивлению, в сочельник, вернувшись из церкви, где они сидели с папой и мамой, Гансом-младшим и Труди, Лизель нашла под елкой что-то завернутое в газету.

– От Святого Никлауса, – сказал Папа, но Лизель было не провести. Она обняла обоих приемных родителей, не успел снег растаять у нее на плечах.

Размотав бумагу, Лизель вынула две небольшие книжки. Первую, «Пес по имени Фауст», написал человек по имени Маттеус Оттлеберг. Эту книгу Лизель прочтет в общем и целом тринадцать раз. В сочельник, сидя за кухонным столом, она прочла первые двадцать страниц, пока Папа и Ганс-младший спорили о чем-то ей непонятном. Под названием «политика».

Потом они с Папой продолжили чтение в постели, соблюдая традицию обводить слова, которых Лизель не знала, и выписывать их. В «Псе Фаусте» были и картинки – чудные завитки, и уши, и смешные портреты немецкой овчарки, страдавшей неприличной слюнявостью и умевшей разговаривать.

Вторая книжка называлась «На маяке», и ее написала женщина, Ингрид Риппинштайн. Эта вторая книга была подлиннее, так что Лизель прочтет ее только девять раз и после столь плодотворных стараний немного улучшит навыки чтения.

⁶ Рождественские празднества (нем.).

Прошло несколько дней после Рождества, когда Лизель спросила об этих книгах. Все сидели на кухне, ели. Глядя, как в Мамин рот ложка за ложкой отправляется гороховый суп, Лизель решила перенести внимание на Папу.

– Я хочу о кое-чем спросить.

Сначала молчание.

– Ну?

Это была Мама – рот еще наполовину занят супом.

– Хочу спросить, откуда вы взяли денег мне на книги.

В Папину ложку скользнула короткая усмешка.

– Правда интересно?

– Конечно.

Из кармана Папа добыл то, что осталось от его табачного пайка и стал сворачивать самокрутку, чего Лизель уже не могла вытерпеть.

– Вы мне скажете или нет?

Папа рассмеялся:

– Но я же *и рассказываю* тебе, дитё. – Он управился с производством самокрутки, выкатил ее на стол и принялся за новую. – Вот так вот.

Тут и Мама с лязгом доела суп, подавила картонную отрыжку и ответила за Папу.

– Этот свинух, – сказала она. – Знаешь, что он сделал? Накрутил весь свой вшивый табак, пошел на ярмарку, когда она была в городе, и сменял у какого-то цыгана.

– Восемь самокруток книжка. – Папа торжествующе сунул одну в рот. Прикурил и глотнул дыму. – Хвала господу за самокрутки, а, Мама?

Та лишь отвесила ему один из фирменных взглядов отвращения, сопроводив его самой обычной пайкой своего словаря:

– Свинух!

Лизель по обыкновению перемигнулась с Папой и доела суп. Как всегда, одна из книг лежала рядом с ней. Девочка не могла не признать, что получила на свой вопрос более чем удовлетворительный ответ. Немного найдется людей, которые могли бы похвастать, что за их образование заплачено самокрутками.

Мама, со своей стороны, сказала, что Ганс Хуберман, будь в нем хоть капля смысла, часть табака обменял бы на новое платье, которое ей до зарезу нужно, или на приличные туфли.

– Куда там... – Мама выплеснула слова в раковину. – Как до меня доходит, ты лучше скуришь весь паек, нет? Да еще и соседский в придачу.

Однако через несколько вечеров Ганс Хуберман вернулся домой с коробкой яиц.

– Прости, Мама. – Он поставил коробку на стол. – Туфли у них все вышли.

Мама не стала жаловаться.

Она даже тихонько напевала, пока жарила те яйца едва ли не до обугливания. Казалось, самокрутки приносят немало радости, и в хозяйстве Хуберманов настали счастливые дни.

Закончились они через несколько недель.

ГОРОДСКОЙ ОБХОДЧИК

Со стиркой дело стало паршиво – и чем дальше, тем хуже.

Когда Лизель пошла с Розой Хуберман через Молькинг с бельем, один из клиентов, Эрнст Фогель, сообщил им, что больше не может отдавать вещи в стирку и глажку.

– Такое время, – извинился он. – Что тут скажешь? А будет еще труднее. Война, надо держаться. – Он посмотрел на девочку. – Вам, конечно, платят пособие на эту малютку, да?

Мама, к ужасу Лизель, будто онемела.

Рядом – пустой мешок.

Идем, Лизель.

Это не сказано было. Это было дернуто – жесткой рукой.

Фогель окликнул их с крыльца. Роста он был, наверное, под метр семьдесят, и сальные

космы безжизненно свисали ему на лоб.

– Извините меня, фрау Хуберман!

Лизель махнула ему.

Он махнул в ответ.

Мама вспыхнула.

– Не маши этому засранцу, – сказала она. – Давай, шевелись.

Тем вечером, моя Лизель в ванне, Мама особенно крепко скребла ее и все время бормотала про «этого свинуха Фогеля» и каждые две минуты изображала его.

– *«Вам должны платить пособие на эту девочку...»* – Растирая, она бранила голую грудь Лизель. – *«Столько ты не стоишь, свинюха. На тебе не разбогатеешь, так-то!»*

Лизель сидела и впитывала.

С этого знаменательного случая прошло не больше недели, когда Роза вызвала девочку на кухню.

– Так, Лизель. – Посадила ее к столу. – Раз уж ты по полдня болтаешься на улице, футбол пинаешь, можешь и делом там заняться. Для разнообразия.

Лизель устала только на свои руки.

– Что такое, Мама?

– Будешь теперь собирать и разносить стирку вместо меня. Этим богатеям не так легко будет нам отказать, если перед ними будешь стоять ты одна. А если спросят, где я, отвечай, что болею. И будь грустной, когда отвечаешь. Ты тощая, бледная, они тебя пожалеют.

– Герр Фогель меня не пожалел.

– Ну... – Мамино смятение было очевидно. – А другие *могут*. И нечего спорить.

– Да, Мама.

Секунду-другую казалось, что ее приемная мать сейчас приободрит Лизель, потреплет по плечу.

Вот и умничка, Лизель. Умничка. Хлоп, хлоп, хлоп.

Ничего подобного она не сделала.

Вместо этого Роза Хуберман встала, выбрала деревянную ложку и поднесла к носу Лизель. По ее убеждению, это было необходимо.

– Когда пойдешь, заходи с мешком в каждый дом и потом носи его сразу домой, *вместе* с деньгами, пусть их там всего ничего. Никаких заходов к Папе, если он вдруг в кои-то веки работает. Никаких лазаний в грязи с этим мелким свинухом Руди Штайнером. Сразу. Домой.

– Да, Мама.

– И когда возьмешь мешок, держи его *как следует*. Не размахивать, не мять и не закидывать на плечо.

– Да, Мама!

– *«Да, Мама»*. – Роза Хуберман была выдающимся имитатором – и ревностным в придачу. – Смотри мне, свинюха. Я узнаю, если будешь размахивать, не сомневайся.

– Да, Мама!

Два эти слова часто оказывались лучшим способом спастись, а другой способ – делать, что говорят, и с того дня Лизель стала обходить улицы Молькинга с бедного конца на богатый, собирая и разнося белье. Поначалу труд был одинокий, хотя Лизель ни разу не пожаловалась. В конце концов, когда Лизель в самый первый раз вышла с бельем в город, она, едва свернув на Мюнхен-штрассе, оглянулась по сторонам и как следует – описав полный круг – взмахнула мешком, а потом проверила, как там содержимое. По счастью, никаких складок. Никаких морщин. И тогда – улыбка и обещание больше никогда не размахивать.

В общем, Лизель нравилось. Доли от платы ей не доставалось, но – не торчать дома и ходить по улицам без Мама само по себе уже блаженство. Без тычков пальцем и проклятий. И люди не пялятся, когда Мама ругает за то, что неправильно несешь белье. Сплошная безмятежность.

И еще Лизель стали нравиться люди:

- Пфаффельхурферы – как они осматривают вещи и говорят: «Ja, ja, sehr gut, sehr gut!» Лизель представляла, что они все делают по два раза.
- Кроткая Хелена Шмидт – как она подает деньги ревматически скрюченной рукой.
- Вайнгартнеры, чья вислоусая кошка все время выходит с ними к дверям. Маленький Геббельс – так они ее звали, по имени первого помощника Гитлера.
- И фрау Герман, жена бургомистра, – как она стоит пушистоволосая и дрожащая в огромном, холодом веющем дверном проеме. Всегда безмолвная. Всегда одна. Ни слова, ни разу.

Иногда с ней ходил Руди.

– Сколько у тебя тут денег? – спросил он однажды ближе к вечеру. Уже почти стемнело, и они выходили на Химмель-штрассе, мимо лавки. – Ты же слыхала про фрау Диллер, да ведь? Говорят, у нее есть тайник с леденцами, и за нужную цену...

– И думать не смей! – Лизель, как всегда, крепко сжимала деньги в кулаке. – Тебе-то не страшно – не тебе перед моей Мамой отчитываться.

Руди пожал плечами:

– Попытка не пытка!

В середине января на уроках в школе проходили составление писем. После обучения основам каждый ученик должен был написать два письма – одно другу и одно – кому-нибудь из параллельного класса.

Письмо Руди к Лизель было написано так:

Дорогая свинюха, ты по-прежнему такая же никудышная на футбольном поле, какая была, когда мы играли прошлый раз? Надеюсь, что да. Значит, я опять тебя обгону, как Джесси Оуэнз на Олимпиаде...

Когда сестра Мария увидела эта, она задала Руди вопрос – очень дружелюбно.

***** ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕСТРЫ МАРИИ *****
«Не желаете ли посетить коридор, герр Штайнер?»

Нечего и говорить, что Руди ответил отрицательно, письмо порвали, и он начал новое. На этот раз оно было адресовано кому-то по имени Лизель, и автор интересовался, есть ли у Лизель хобби, и какое.

Дома, составляя письмо, заданное на дом, Лизель решила, что писать Руди или еще какому-нибудь свинуху было бы, конечно, смешно. Какой смысл? Сидя над письмом в подвале, она заговорила с Папой, который в очередной раз перекрашивал стену.

Папа обернулся вместе с облаком паров краски:

– Was wuistz? – Это была самая грубая форма немецкого, на которой только можно разговаривать, но сказано это было с видом полнейшего довольства. – Ну, чего?

– Я смогу написать письмо маме?

Молчание.

– Зачем тебе понадобилось писать ей письмо? Тебе и так приходится терпеть ее каждый день. – Папа усмехнулся лукаво – дал «шмунцеля»⁷. – Тебе этого мало?

– Не этой маме. – Лизель сглотнула.

– А. – Папа отвернулся к стене и продолжил красить. – Ну, наверное. Можно отослать его, как там ее – даме, которая привезла тебя сюда и потом приезжала несколько

⁷ От нем. schmunzeln – насмехаться.

раз – из конторы по опеке.

– Фрау Генрих.

– Ну да. Отправь ей. Может, она сможет переслать его твоей маме.

Даже в тот момент прозвучало неубедительно – как будто он что-то недоговаривал. Во время коротких визитов фрау Генрих о матери Лизель не проронила ни слова.

Не спросив Папу, что здесь не так, Лизель тут же принялась писать, решив не отзываться на дурное предчувствие, которое тут же в ней зашевелилось. Чтобы довести письмо до ума, потребовалось три часа и шесть черновиков: чтобы рассказать маме все о Молькинге, о Папе и его аккордеоне, о странных, но честных повадках Руди Штайнера и о подвигах Розы Хуберман. Еще Лизель писала, как она гордится тем, что теперь умеет читать и немного писать. На следующий день она опустила письмо в ящик у фрау Диллер, наклеив марку, добытую из кухонного стола. И стала ждать.

В тот вечер, сидя над письмом, Лизель подслушала разговор между Гансом и Розой.

– Чего это она взялась писать матери? – говорила Мама.

Голос у нее был на удивление спокойный и заботливый. Как вы можете понять, Лизель это немало встревожило. Ей больше понравилось бы, если бы приемные родители спорили. Когда взрослые шепчутся, это как-то не добавляет спокойствия.

– Она спросила, – отвечал Папа, – не мог же я сказать нет. Верно?

– Езус, Мария и Йозеф! – Снова шепот. – Ей надо забыть ее, и все. Кто знает, где она теперь? Кто знает, что они с ней сделали?

В кровати Лизель крепко обхватила себя руками. Собрала себя в комок.

Она думала о матери и повторяла Мамины вопросы.

Где она?

Что с ней сделали?

И кто, наконец, на самом деле, эти *они*?

МЕРТВЫЕ ПИСЬМА

Перенесемся вперед – сентябрь 1943-го, подвал Хуберманов.

Четырнадцатилетняя девочка пишет в маленькой книжке с темной обложкой. Девочка худенькая, но она сильная и немало повидала. Папа сидит с аккордеоном у ног.

Он говорит:

– А знаешь, Лизель? Я почти написал тебе ответ и подписался «мама». – Папа чешет ногу там, где раньше был гипс. – Но все-таки не смог. Не смог себя заставить.

Несколько раз за остаток января и целый февраль 1940 года, когда Лизель проверяла почтовый ящик, нет ли ответа на ее письмо, сердце ее приемного отца явственно обливалось кровью.

– Жаль! – говорил он ей. – Сегодня нету, а?

Это позже Лизель поняла, что вся затея была бессмысленна. Если б мама могла, она бы давно связалась с людьми из опеки, или с самой Лизель, или с Хуберманами. Но ничего этого не случилось.

Обида стала еще горше, когда в середине февраля Лизель получила письмо от одних глажечных клиентов – Пфаффельхурферов с Хайде-штрассе. Эти двое с великой долговязостью стояли в дверях, меланхолично оглядывая Лизель.

– Твоей маме, – сказал мужчина, протягивая конверт. – Передай, что нам жаль. Передай, что нам жаль.

В доме Хуберманов то был не лучший вечер.

Даже когда Лизель скрылась в подвале сочинять пятое письмо матери (все, кроме первого, еще предстоит отослать), ей были слышны ругательства Розы: она распространялась насчет этих засранцев Пфаффельхурферов и этой вшивоты Эрнста Фогеля.

– Feuer soll'n's brunzen für einen Monat! – было слышно ей. Перевод: «Чтоб они все

месяц огнем мочились!»

Лизель писала.

Когда наступил день ее рождения, подарков не было. Подарков не было, потому что не было денег, и в тот момент у Папы закончился табак.

– Я тебе говорила. – Мама ткнула в него пальцем. – Я говорила не дарить обе книги на Рождество. Так нет ведь. Разве ты послушал? *Разумеется*, нет!

– Знаю, знаю! – Он спокойно повернулся к Лизель. – Прости, Лизель. Сейчас мы не можем себе позволить.

Лизель не огорчилась. Не захныкала и не застонала, не затопала ногами. Она лишь проглотила разочарование и решила на просчитанный риск – подарок самой себе. Она соберет все накопившиеся письма к матери, засунет в один конверт и возьмет самую капельку бельевых денег на отправку. Потом, конечно, она получит «варчен», вероятнее всего – на кухне, но не проронит ни звука.

Через три дня замысел дал плоды.

– Здесь не все! – Мама сочла деньги в четвертый раз, а Лизель стояла рядом, у плиты. Плита была теплая, и оттого кровь у Лизель варилась быстрее. – Что случилось, Лизель?

Она соврала:

– Наверное, они дали меньше, чем обычно.

– А ты пересчитывала?

Она сдалась:

– Я их потратила, Мама.

Роза подошла ближе. Нехороший знак. Она оказалась совсем рядом с деревянными ложками.

– Ты – что?

Не успела Лизель и слова сказать, как деревянная ложка опустилась на ее тело, словно пята Бога. Красные отпечатки, будто следы ног, и они жгут. С полу, когда все закончилось, девочка наконец подняла взгляд и все объяснила.

Биение пульса и желтые сполохи, все вместе. Лизель поморгала.

– Я отправила письма.

В следующий миг на нее нашло: запыленность пола, ощущение, будто одежда, скорее, рядом с ней, а не на ней, и внезапное понимание того, что все было напрасно – ответ от матери не придет никогда, и они больше никогда не увидятся. Истинность этого стала ее вторым «варченом». Боль обожгла Лизель и не отпускала долгие минуты.

Роза наверху будто расплылась, но скоро прояснилась вновь – картонное лицо замаячило ближе. Обескураженная, стояла она там во всей своей пухлоте, держа деревянную ложку у бедра, как дубину. Роза наклонилась и дала небольшую течь.

– Прости, Лизель.

Лизель довольно знала Розу и поняла, что это не за выволочку.

Красные отпечатки разбухали пятнами на ее коже, а она все лежала – в пыли, в грязи, в слепом свете. Дыхание успокоилось, и по лицу проползла одинокая желтая слеза. Лизель чувствовала телом пол. Рукой, коленом. Локтем. Щекой. Икрой.

Пол был холодный, особенно под щекой, но двинуться она не могла.

Ей больше никогда не увидеть мать.

Около часа она пластом лежала под кухонным столом, пока не вернулся Папа и не заиграл на аккордеоне. Только тогда Лизель села и начала приходить в себя.

Когда Лизель стала писать о том вечере, у нее не было никакой злости на Розу Хуберман – да и на мать, к слову, тоже. Для нее они были просто жертвы обстоятельств. Только одна мысль повторялась все время – желтая слеза. Будь там темно, думала Лизель, слеза была бы черная.

– Но и *было* темно, – говорила она себе.

И сколько бы раз ни старалась она представить ту сцену при желтом свете, который,

насколько ей было известно, там горел, ей приходилось постараться, чтобы все увидеть. Ее отдубасили в темноте, и там она лежала, на холодном, темном кухонном полу. Даже Папина музыка была цвета тьмы.

Даже Папина музыка.

Странность в том, что Лизель эта мысль не расстраивала, а, скорее, как-то неявно утешала.

Тьма, свет.

Какая разница?

Страшные сны укрепились и там, и там, лишь только книжная воришка начала понимать, как все обстоит и как теперь будет всегда. И если другого не оставалось, она хотя бы могла подготовиться. И может, потому на день рождения фюрера, когда ответ на вопрос о бедствиях матери полностью обнажился, Лизель сумела ответить, несмотря на все смятение и гнев.

Лизель Мемингер созрела.

С днем рождения, герр Гитлер.

Живите сто лет.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГИТЛЕРА, 1940 Г.

Вопреки всей безнадежности Лизель каждый день проверяла почтовый ящик – весь март с заходом далеко в апрель. Все это несмотря на испрошенный Гансом визит фрау Генрих из государственной опеки, которая объяснила Хуберманам, что ее учреждение полностью утратило связь с Паулой Мемингер. А девочка все равно упрямылась и, как вы можете представить, день за днем, поверяя почту, не находила ничего.

Молькинг, как и всю остальную Германию, захватила подготовка ко дню рождения фюрера. В том году при сложившемся положении на фронтах и всех победах Гитлера местные партийные активисты хотели, чтобы празднование вышло особенно достойным. Будет парад. Марши. Музыка. Песни. Будет костер.

Пока Лизель обходила улицы Молькинга, доставляя и собирая стирку-глажку, национал-социалисты копили топливо. Пару раз Лизель своими глазами видела, как мужчины и женщины стучали в двери и спрашивали, нету ли чего такого, с чем, хозяину кажется, нужно покончить или что нужно уничтожить. В «Молькингском Экспрессе» у Папы было написано, что на городской площади состоится праздничный костер, туда придут все местные отряды Гитлерюгенда. Костер ознаменует не только день рождения фюрера, но и победу над его врагами и освобождение от уз, которые удерживали Германию со времен окончания Первой мировой.

* * *

«Любые материалы с тех времен, – советовали в статье, – плакаты, книги, флаги, газеты – и любую найденную вражескую пропаганду нужно сразу нести в местный штаб НСДАП на Мюнхен-штрассе».

Даже Шиллер-штрассе, улицу желтых звезд, которая еще ждала перестройки, обшарили еще раз напоследок, выискивая что-нибудь, хоть что-то, дабы сжечь во имя и во славу фюрера. Не вызвало бы удивления, даже если бы кое-кто из партийных поехал и где-нибудь отпечатал тысячу-другую книжек или плакатов морально-разлагающего содержания, только ради того чтобы их предать огню.

Все было готово для великолепного 20 апреля. Это будет день сожжений и радостных воплей.

И книжного воровства.

В доме Хуберманов в то утро все снова шло как обычно.

– Этот свинух опять смотрит в окно, – ругалась Роза Хуберман. – *Каждый* божий день, – не замолкала она. – Ну что ты там теперь высматриваешь?

– О-о, – простонал Папа с восторгом. На спину ему сверху окна свисал флаг. – Надо и тебе взглянуть на эту даму. – Он оглянулся через плечо и ухмыльнулся Лизель. – Прямо хоть выскочить и бежать за ней. Ты ей в подметки не годишься, Мама.

– Schwein! – Мама погрозила Папе деревянной ложкой. – Вот свинья!

А тот продолжал смотреть в окно на несуществующую даму и очень даже существующий коридор из германских флагов.

В тот день каждое окно на улицах Молькинга украсилось во славу фюрера. В некоторых местах, вроде лавки фрау Диллер, окна были рьяно вымыты, флаги новехоньки, а свастика смотрелась как брильянт на красно-белом одеяле. В других флаги свисали с подоконников, как сохнувшее белье. Но все же были.

С утра случился небольшой переполох. Хуберманы не могли найти свой флаг.

– За нами придут, – заверила Мама мужа. – Нас заберут. – Кто? Они. – Надо найти!

Уже казалось, что Папе придется пойти в подвал и нарисовать флаг на холстине. К счастью, флаг все-таки нашелся, похороненный в шкафу за аккордеоном.

– Этот адский аккордеон, загораживал мне всю видимость! – Мама крутанулась на пятках. – Лизель!

Девочке доверили честь приколоть флаг к оконной раме.

Ближе к полудню приехали Ганс-младший и Труды – на домашний обед, как они это делали на Рождество и Пасху. По-моему, теперь подходящий момент представить их пообстоятельнее:

У Ганса-младшего были отцовские глаза и рост. Вот только серебро в его глазах было не теплое, как у Папы, – там уже профюрерили. Еще у него было побольше мяса на костях, колючие светлые волосы и кожа, как белесая краска.

Труды, или Трудель, как ее часто называли, была лишь на пару-другую сантиметров выше Мама. Ей досталась плачевная утиная походка Розы Хуберман, но в остальном она была заметно тоньше. Живя прислугой в богатой части Мюнхена, она, скорее всего, уставала от детей, но всегда умела найти хотя бы несколько улыбчивых слов для Лизель. У нее были мягкие губы. Тихий голос.

Ганс и Труды приехали вместе на мюнхенском поезде, и совсем скоро ожили старые трения.

*** КОРОТКАЯ ИСТОРИЯ О ***

ПРОТИВОСТОЯНИИ ГАНСА ХУБЕРМАНА С СЫНОМ

Молодой человек был фашист; его отец – не был.

В глазах Ганса-младшего отец был частью прежней дряхлой Германии – той, которая любому дает себя в пресловутый оборот, пока ее собственный народ страдает.

Он рос, зная, что отца называют «Der Juden Maler» – еврейский маляр – за то, что красит дома евреям.

Потом произошел один случай,

**который я скоро опишу вам полностью,
– день, когда Ганс-старший все просвистел
уже на самом пороге вступления в Партию.**

**Всякому ясно, что ни к чему закрашивать грязные слова,
написанные на фасадах еврейских лавок.**

**Такое поведение вредит Германии
и вредит самому отступнику.**

– Ну так что, тебя еще не приняли? – Ганс-младший начал с того, на чем они остановились в Рождество.

– Куда?

– Ну догадайся – в Партию!

– Нет, думаю, про меня забыли.

– Ну а ты обращался хоть раз с тех пор? Нельзя же вот так сидеть и ждать, пока тебя не догонит новый мир. Надо пойти и самому стать его частью – невзирая на прошлые ошибки.

Папа поднял глаза:

– Ошибки? В жизни я много ошибался, но уж не тем, что не вступил в фашистскую партию. Мое заявление у них – ты знаешь, – но я не пойду снова проситься. Я просто...

Тут-то и пришел большой озноб.

Он влетел в окно, гарцуя на сквозняке. Может, то было дуновение Третьего Рейха, набирающее все большую силу. А может, просто все та же Европа, ее дыхание. То или другое, но оно овеяло старшего и младшего Хуберманов в тот миг, когда их металлические глаза столкнулись, как оловянные кастрюли.

– Тебе всегда было плевать на страну! – сказал Ганс-младший. – Тебе она безразлична.

Папины глаза стало разъедать. Ганса-младшего это не остановило. Чего-то ради он посмотрел на девочку. Торчком расставив на столе три свои книжки, будто для разговора, Лизель беззвучно шевелила губами, читая в одной.

– И что за дрянь читает девчонка? Ей нужно читать «Майн кампф».

Лизель подняла глаза.

– Не беспокойся, Лизель, – сказал Папа. – Читай, читай. Он не понимает, что говорит.

Но Ганс-младший не сдавался. Он подступил ближе и сказал:

– Или ты с фюрером, или против него – и я вижу, что ты против. С самого начала был. – Лизель следила за лицом Ганса-младшего, не отрывая глаз от его тощих губ и твердокаменного ряда нижних зубов. – Жалок человек, который может стоять в сторонке, сложа руки, когда вся нация выбрасывает мусор и идет к величию.

Труди и Мама сидели молча и напуганно, Лизель – тоже. Пахло гороховым супом, что-то горело, и согласия не было.

Все ждали следующих слов.

Их произнес сын. Всего два.

– Ты – трус. – Он опрокинул их Папе в лицо и немедленно вышел вон из кухни, из дома.

Вопреки всей бесполезности, Папа вышел на порог и закричал вслед сыну:

– Трус? Я трус?!

Он бросился к калитке и, словно умоляя, побежал за сыном. Роза метнулась к окну, сорвала флаг и распахнула створки. Мама, Труди и Лизель столпились у окна и смотрели, как отец нагнал сына и схватил за руку, умоляя остановиться. Слышно ничего не было, но движения вырывавшегося Ганса-младшего кричали довольно громко. А фигура Папы, когда он глядел вслед Гансу, просто ревела им с улицы.

– Ганси! – позвала наконец Мама. И Труди, и Лизель поежились от ее голоса. – Вернись!

Мальчик ушел.

Да, мальчик ушел, и я был бы рад сообщить вам, что у молодого Ганса Хубермана все сложилось хорошо, но это не так.

Испарившись в тот день во имя фюрера с Химмель-штрассе, он помчался сквозь события другой истории, и каждый шаг неминуемо приближал его к России.

К Сталинграду.

***** НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТАЛИНГРАДЕ *****

- 1. В 1942- м и в начале 1943- го небо в этом городе
каждое утро выцветало до белой простыни.**
- 2. Весь день напролет, пока я переносил по небу души,
простыню забрызгивало кровью,
пока она не пропитывалась насквозь
и не повисала до земли.**
- 3. Вечером ее выжимали и вновь отбеливали
к следующему рассвету.**
- 4. И все это, пока бои шли только днем.**

Когда сын скрылся из виду, Ганс Хуберман постоял еще несколько секунд. Улица казалась такой большой.

Когда Папа вновь появился на кухне, Мама уперлась в него пристальным взглядом, но они не обменялись ни словом. Она ничем не упрекнула его, что было, как вы понимаете, весьма необычно. Может, решила, что Папа и так страдает, получив ярлык труса от единственного сына.

Когда все поели, Папа еще посидел молча за столом. Был ли он в самом деле трусом, о чем столь грубо объявил его сын? Разумеется, на Первой мировой Ганс им себя считал. И трусости приписывал то, что остался в живых. Но полно, разве признаться в том, что боишься, – это трусость? Радоваться тому, что жив – трусость?

Его мысли чертили зигзаги по столешнице, в которую он глядел.

– Папа? – позвала Лизель, но тот даже не взглянул. – О чем он говорил? Что он имел в виду, когда...

– Ни о чем, – ответил Папа. Он говорил, тихо и спокойно, столу. – Ничего. Не думай про него, Лизель. – Прошла, наверное, целая минута, прежде чем он снова открыл рот. – Тебе не пора собираться? – Теперь уже он смотрел на Лизель. – Разве тебе не надо на костер?

– Да, Папа.

Книжная воришка пошла и переделалась в свою форму Гитлерюгенда, и спустя полчаса они вышли и зашагали к отделению БДМ. Оттуда детей поотрядно отведут на городскую площадь.

Прозвучат речи.

Загорится костер.

Будет украдена книга.

СТОПРОЦЕНТНО ЧИСТЫЙ НЕМЕЦКИЙ ПОТ

Люди стояли вдоль улиц, пока юность Германии маршировала к ратуше и городской площади. Не раз и не два Лизель забывала и о матери, и обо всех других бедах, которые на то время пребывали в ее владении. У нее что-то разбухало в груди, когда люди на улицах принимались хлопать. Некоторые дети махали родителям, но быстренько – им дали четкое указание шагать вперед *и не смотреть и не махать* зрителям.

Когда на площадь вышел отряд Руди и получил команду остановиться, возникла накладочка. Томми Мюллер. Остальной отряд встал, и Томми с ходу врзался в переднего мальчика.

– Dummkopf! – прошипел передний мальчик, прежде чем обернуться.

– Прости, – сказал Томми, умоляюще воздев руки. Лицо у него задергалось целиком. – Я не услышал!

Всего лишь небольшая заминка, но еще и прелюдия грядущих неприятностей. Для Томми. Для Руди.

Когда марш закончился, всем отрядам Гитлерюгенда позволили разойтись. Иначе будет почти невозможно сдержать детей в строю, когда костер, будоража, разгорится у них в глазах. Сообща все прокричали единогласный «хайль Гитлер» и получили свободу бродить. Лизель высматривала Руди, но лишь толпа детей рассыпалась, девочка потерялась в мешанине форменных одежек и звенящих выкриков. Дети окликали друг друга со всех сторон.

К половине пятого воздух заметно остыл.

Люди шутили, что неплохо бы погреться.

– Все равно этот хлам ни на что больше не сгодится.

Хлам свозили в кучу на тачках. Сваливали в середине городской площади и поливали чем-то сладким. Книги, бумага и другие вещи соскальзывали или обваливались с кучи, их тут же закидывали обратно. С расстояния куча походила на что-то вулканическое. Или причудливое и нездешнее, непостижимым образом приземлившееся на середине площади, – такое, что нужно прихлопнуть, и поскорее.

Вылитый на кучу запах наваливался на толпу, которую держали на порядочном расстоянии. Там было здорово за тысячу душ: на мостовой, на ступенях ратуши, на крышах домов, окружающих площадь.

Когда Лизель стала протискиваться вперед, послышался какой-то треск, и она решила, что костер уже занялся. Но нет. Звук был от оживленной толпы, бурлящей, взбудораженной.

Начали без меня!

И хотя какой-то внутренний голос шептал ей, что это преступление – в конце концов, три книги были у нее самой большой драгоценностью, – ей обязательно хотелось увидеть, как загорится куча. Она не могла удержаться. По-моему, людям нравится немного полюбоваться разрушением. Песочные замки, карточные домики – с этого и начинают. Великое умение человека – его способность к росту.

Боязнь не увидеть главного схлынула, когда Лизель нашла брешь в телах и сквозь нее увидела холм греха, все еще нетронутый. Его тыкали, поливали и даже плевали на него. Он показался Лизель никому не нужным ребенком, брошенным и растерянным, бессильным изменить свою участь. Никому он не нравится. Взгляд в землю. Руки в карманах. Навеки. Аминь.

Части и крошки продолжали осыпаться к подножию, а Лизель выискивала Руди. Где же этот свинух?

Небо, когда Лизель посмотрела вверх, ежилось.

Фашистские флаги и форменные рубашки возносились по всему горизонту и кромсали обзор всякий раз, когда Лизель пробовала заглянуть через голову какого-нибудь ребенка пониже. Все было тщетно. Толпа как она есть. Ее было не раскатать, сквозь нее не протиснуться, ее не убедить. Каждый с толпой дышал и пел ее песни. И ждал ее костра.

С помоста какой-то человек потребовал тишины. На нем была коричневая форма с иголки. От нее, можно сказать, еще не отняли уют. Началась тишина.

Его первые слова:

– Хайль Гитлер!

Его первое действие: салют фюреру.

– Сегодня прекрасный день, – продолжил оратор. – Это не только день рождения нашего великого вождя, но мы снова дали отпор врагам. Мы не дали им проникнуть в наши умы...

Лизель все пыталась протиснуться вперед.

– Мы положили конец заразе, которая распространялась по Германии двадцать последних лет, если не дольше!

Теперь он исполнял то, что называлось *Schreierei* – виртуозную демонстрацию

страстных выкриков, – призывая слушателей быть бдительными, быть зоркими, замечать и пресекать злодейские козни, цель которых – подло заразить прекрасную родину.

– Безнравственные! Kommunisten! – Опять это слово. То старое слово. Сумрачные комнаты. Пиджачные люди. – Die Juden! Евреи!

* * *

Лизель сдалась на середине речи. Как только слово «коммунист» зацепило ее, продолжение фашистской декламации потекло мимо, по бокам, теряясь где-то в обступавших Лизель немецких ногах. Водопады слов. Девочка, барахтающаяся в потоке. Лизель снова задумалась. Kommunisten.

До сих пор на занятиях в БДМ им говорили, что немцы – это высшая раса, но никаких других конкретно не упоминали. Конечно, все знали о евреях, поскольку те были главным *преступником* в смысле разрушения германского идеала. Однако ни разу до сего дня не упоминались коммунисты, несмотря на то, что люди с такими политическими взглядами тоже подлежали наказанию.

Ей надо выбраться.

Впереди Лизель абсолютно неподвижно сидела на плечах голова с расчесанными на пробор светлыми волосами и двумя хвостиками. Уставившись на нее, Лизель снова бродила по тем сумрачным комнатам своего прошлого, и ее мать отвечала на вопросы, сделанные из одного слова.

Лизель видела все это так ясно.

Изголодавшаяся мать, пропавший без вести отец. Kommunisten.

Неживой брат.

– И теперь мы говорим «прощай!» всему этому мусору, этой отраве.

За миг до того, как Лизель Мемингер с отвращением развернулась, чтобы выбраться из толпы, сияющее коричнево-рубашечное создание шагнуло с помоста. Приняв от подручного факел, человек зажег кучу, которая всей своей преступностью превращала его в гнома.

– Хайль Гитлер!

Публика:

– Хайль Гитлер!

Толпа мужчин двинулась от помоста и окружила кучу, поджигая ее, к общему горячему одобрению. Голоса карабкались по плечам, и запах чистейшего немецкого пота, что поначалу сдерживался, теперь струился вовсю. Он обтекал угол за углом – и вот уже все плавали в нем. Слова, пот. И улыбки. Не стоит забывать про улыбки.

Посыпались шуточные замечания, прошла новая волна «хайльгитлера». Знаете, вот мне интересно: ведь со всем этим кто-нибудь мог лишиться глаза, повредить палец или руку. Всего-то и надо – в неудачный момент обернуться лицом не в ту сторону или стоять чуточку ближе, чем нужно, к другому человеку. Наверное, кого-то и ранило так. От себя могу сказать вам, что никто от этого не погиб – по крайней мере физически. Разумеется, было около сорока миллионов душ, которых я собрал к тому времени, как вся заваруха закончилась, но это уже метафоры. Теперь давайте вернемся к нашему костру.

Рыжее пламя приветливо махало толпе, а в нем растворялись бумага и буквы. Горящие слова, выданные из предложений.

По другую сторону сквозь текущий жар можно было разглядеть коричневые рубашки и свастики – они взялись за руки. Людей видно не было. Только форму и знаки.

Над головами чертили круги птицы.

Они кружили, зачем-то слетаясь на зарево – пока не спускались слишком близко к жару. Или то были люди? Положительно, дело было не в тепле.

За попыткой убежать ее застиг голос.

– Лизель!

Голос пробился к ней, и она его узнала. Не Руди, но знакомый.

Лизель вывернулась и двинулась на голос, разыскивая связанное с ним лицо. Ох, нет. Людвиг Шмайкль. Вопреки ее ожиданиям, он не стал насмешничать или шутить и вообще не завел никакого разговора. Он смог лишь подтянуть Лизель к себе и показал на свою лодыжку. В суматохе ее разбили, и она темно и зловеще кровоточила сквозь носок. На лице мальчика под спутанными светлыми волосами была беспомощность. Животное. Не олень в свете фар. Ничего типичного или определенного. Просто животное, раненное в толпе сородичей, где его скоро и затопчут.

Как-то Лизель помогла Людвигу встать и потащила его в задние ряды. На свежий воздух.

Они добрались до бокового портала церкви. Найдя свободное место, остались там, напряжение спало.

Дыхание обрушивалось изо рта Людвигу. Соскальзывало по горлу. Наконец он заговорил.

Опустившись на ступеньку, он взял свою лодыжку в руки и нашел взглядом лицо Лизель Мемингер.

– Спасибо, – сказал он, скорее, в рот ей, а не в глаза. Еще глыбы выдыхов. – И... – У обоих перед глазами встали картинки подначек на школьном дворе, за ними – избиений на школьном дворе. – Извини – за... ну, ты знаешь!

Лизель опять услышала:

Kommunisten.

Но решила, однако, переключиться на Людвигу Шмайкля:

– И ты.

После этого оба сосредоточились на дыхании, потому что говорить было не о чем. Их дело было кончено.

Кровь расплывалась по щиколотке Людвигу Шмайкля.

На Лизель наваливалось одинокое слово.

Слева от них толпа приветствовала пламя и горящие книги, как героев.

ВРАТА ВОРОВСТВА

Лизель сидела на ступеньках, дожидаясь Папу, смотрела на разлетающийся пепел и труп собранных книг. Все грустно. Красные и оранжевые угли были похожи на выброшенные леденцы, большая часть толпы уже исчезла. Лизель видела, как уходит фрау Диллер (весьма довольная) и Пффифкус (белые волосы, фашистская форма, все те же разложившиеся ботинки и торжествующий свист). Теперь оставалась только уборка, и скоро никто и представить не сможет, что здесь что-то происходило.

Но можно почуять.

– Чем ты тут занимаешься?

На церковном крыльце появился Ганс Хуберман.

– Привет, Пап.

– Мы думали, ты перед ратушей.

– Прости, Пап.

Папа сел рядом, уполовинив свою рослость на бетоне, и взял прядь волос Лизель. Нежными пальцами заправил прядь ей за ухо.

– Что случилось, Лизель?

Девочка ответила не сразу. Она занималась расчетами, хотя уже и так все знала. Одиннадцатилетняя девочка – это много чего сразу, но не дурочка.

*** НЕБОЛЬШОЙ ПОДСЧЕТ ***

Слово коммунист + большой костер + пачка мертвых
писем + страдания матери + смерть
брата = фюрер

Фюрер.

Он и был те *они*, о которых говорили Ганс и Роза Хуберманы в тот вечер, когда Лизель писала первое письмо матери. Она поняла, но все же надо спросить.

– А моя мама – коммунист? – Прямой взгляд. В пространство. – Ее все время спрашивали про все, перед тем как я сюда приехала.

Ганс немного подвинулся вперед, к краю, оформляя начало лжи.

– Не имею понятия – я ее никогда не видел.

– Это фюрер ее забрал?

Вопрос удивил обоих, а Папу заставил подняться на ноги. Он поглядел на коричневорубашечных парней, подступивших с лопатами к груде золы. Ему было слышно, как врезаются лопаты. Следующая ложь зашевелилась у него во рту, но дать ей выход Папа не смог. Он сказал:

– Да, наверное, он.

– Я так и знала. – Слова брошены на ступени, а Лизель почувствовала слякоть гнева, что горячо размешивалась в желудке. – Я ненавижу фюрера, – сказала она. – Я его ненавижу!

Что же Ганс Хуберман?

Что он сделал?

Что сказал?

Наклонился и обнял свою приемную дочь, как ему хотелось? Сказал, как опечален всем, что выпало Лизель и ее матери, что случилось с ее братом?

Не совсем.

Он стиснул глаза. Потом открыл их. И крепко шлепнул Лизель Мемингер по щеке.

– *Никогда* так не говори! – Сказал он тихо, но четко. Девочка содрогнулась и обмякла на ступеньках, а Папа сел рядом, опустив лицо в ладони. Его легко было принять за обычного высокого человека, неуклюже и подавленно сидящего где-то на церковном крыльце, но все было не так. В то время Лизель не имела понятия, что ее приемный отец Ганс Хуберман решал одну из самых опасных дилемм, перед какой мог оказаться гражданин Германии. Более того, эта дилемма стояла перед ним уже почти год.

– Папа?

Удивление, пролившееся в слове, затопило Лизель, но она ничего не могла с этим поделать. Хотела бежать, а не могла. «Варчен» от сестер или Розы принять она еще могла, но от Папы взбучка больнее. Ладони отлипли от Папиного лица, и он нашел силы заговорить снова.

– У нас дома так говорить можешь, – сказал он, мрачно глядя на щеку Лизель. – Но никогда не говори так ни на улице, ни в школе, ни в БДМ, нигде! – Ганс встал перед нею и поднял ее за локоть. Тряхнул. – Ты меня слышишь?

Распахнутые глаза Лизель застыли в капкане, она покорно кивнула.

Это была вообще-то репетиция будущей лекции, когда все худшие страхи Ганса Хубермана явятся на Химмель-штрассе в конце года, в ранний предутренний час ноябрьского дня.

– Хорошо. – Ганс опустил Лизель на место. – Теперь давай-ка попробуем... – У подножия лестницы Папа встал, выпрямившись, и вздернул руку. Сорок пять градусов. – Хайль Гитлер!

Лизель поднялась и тоже вытянула руку. В полном унынии она повторила:

– Хайль Гитлер!

Вот это была сцена – одиннадцатилетняя девочка на ступенях церкви старается не расплакаться, салютуя фюреру, а голоса за Папиным плечом рубят и колотят темную

гору.

* * *

– Мы еще друзья?

Где-то четверть часа спустя Папа держал на ладони самокруточную оливковую ветвь – бумагу и табак, которые он недавно получил. Без единого слова Лизель угрюмо протянула руку и принялась сворачивать.

Довольно долго они сидели так вдвоем.

Дым карабкался вверх по Папиному плечу.

Еще десять минут – и ворота воровства чуть приоткроются, и Лизель Мемингер отворит их чуть пошире и протиснется в них.

*** ДВА ВОПРОСА ***

Закроются ли эти ворота за ней?

Или же любезно пожелают выпустить ее обратно?

Как обнаружит Лизель, хорошей воришке нужно много разных качеств.

Неприметность. Дерзость. Проворство.

Но гораздо важнее каждого – одно последнее требование.

Везение.

Вообще-то.

Никаких десяти минут.

Врата уже открываются.

КНИГА ОГНЯ

Темнота наступала кусками, и когда с самокруткой было покончено, Лизель и Ганс Хуберман зашагали домой. Путь с площади лежал мимо кострища и через переулок – на Мюнхен-штрассе. Но они туда не дошли.

Их окликнул пожилой плотник по имени Вольфганг Эдель. Это он ставил помосты, на которых во время костра стояли партийные шишки, а теперь занимался их разборкой.

– Ганс Хуберман? – У Эделя были длинные бакенбарды, загибающиеся ко рту, и темный голос. – Ганси!

– Здорово, Вольфаль, – ответил Ганс. Последовало знакомство с Лизель и «Хайль Гитлер!». – Молодец, Лизель.

Первые несколько минут Лизель держалась в радиусе пяти метров от беседы. Обрывки разговора пролетали мимо, но она не прислушивалась.

– Много работы?

– Нет, сейчас с этим туго. Ты же знаешь, как оно, особенно если кто не в рядах.

– Ганси, ты же говорил мне, что вступаешь.

– Я пробовал, но допустил ошибку – похоже, там еще думают.

Лизель докочевала до горы пепла. Гора стояла там, как магнит, как урод. Неодолимо притягивая взгляд – точно так же, как улица желтых звезд.

Как раньше ей не терпелось увидеть зажжение кучи, так и теперь Лизель не могла отвести от нее глаз. Один на один с кучей она не нашла в себе благоразумия держаться на безопасном расстоянии. Куча притягивала к себе, и Лизель пошла кругом нее.

Небо над головой обычным порядком переходило в черноту, но вдали над горным плечом держался тусклый след солнца.

– Pass auf, Kind, – сказала ей коричневая рубаха. – Осторожнее, дитя, – швыряя в тачку

очередную лопату пепла.

Ближе к ратуше под фонарем стояли и разговаривали какие-то тени – скорее всего, радовались успешному костру. До Лизель их голоса доносились просто звуками. Без всяких слов.

Несколько минут Лизель смотрела, как мужчины перелопачивают груды пепла, сначала сокращая ее с боков, чтобы осыпалось больше верха. Они ходили от кучи к грузовику и обратно, и после трех заходов, когда куча у основания уменьшилась, из-под пепла высунулся небольшой участок еще живого сырья.

***** СЫРЬЕ *****

**Половинка красного флага,
два плаката с рекламой еврейского поэта,
три книги и деревянная вывеска
– с какой-то надписью на иврите.**

Может, сырье отсырело. Может, огонь рано погас, не добравшись, как следовало, до глубины, где они лежали. Как бы там ни было, они сбились вместе среди углей, потрясенные. Уцелевшие.

– Три книги. – Лизель сказала это тихо и посмотрела в спины уборщиков.

– Шевелитесь, – сказал один. – Давайте быстрее, ну, – подыхаю от голода.

Они двинулись к грузовику.

Троица книжек высунула носы.

Лизель подобралась ближе.

Жар был еще настолько силен, что согревал Лизель, когда она встала у подножия зольной груды. Потянулась – и руку укусило, но на второй попытке она постаралась и сделала все как надо, быстро. Ухватила ближайшую из книг. Та была горячая, но еще и мокрая, обгоревшая лишь по краям, а в остальном невредимая.

Синяя.

Обложка на ощупь была словно сплетена из сотен туго натянутых и прижатых прессом нитей. В нити впечатаны красные буквы. Единственное слово, которое Лизель успела прочесть, было «...плеч». На остальное времени не было, к тому же возникла новая сложность. Дым.

От обложки шел дым, когда Лизель, перекидывая книгу из руки в руку, поспешила прочь. Голова опущена, и с каждым длинным шагом болезненная красота нервов становилась все убийственнее. Четырнадцать шагов и тут – голос.

Он воздвигся за ее спиной.

– Эй!

Тут Лизель едва не бросилась назад и не швырнула книгу в кострище – но не смогла. Единственным доступным ей движением остался поворот.

– Тут кое-что не сгорело! – Один из уборщиков. Он смотрел не на девочку, скорее – на людей у ратуши.

– Ну зажги еще раз! – донесся ответ. – И *проследи*, чтобы сгорело!

– Кажется, сырое!

– Езус, Мария и Йозеф, мне что, все делать самому?

Лизель миновал стук шагов. То был бургомистр – в черном пальто поверх фашистской формы. Он не заметил девочку, которая стояла совершенно неподвижно чуть ли не рядом.

***** ВИДЕНИЕ *****

Статуя книжной воршилки, установленная во дворе...

**Большая редкость, вам не кажется, чтобы статуя появилась
прежде, чем ее герой стал знаменит?**

Отлегло.

Восторг оттого, что тебя не замечают!

Книга, похоже, немного остыла, и можно сунуть ее под форму. У груди поначалу книга была приятной и теплой. Но Лизель зашагала дальше, и книга снова стала накаляться.

К тому времени, как Лизель вернулась к Папе и Вольфгангу Эделю, книга уже начала ее жечь. Казалось, вот-вот вспыхнет.

Оба мужчины смотрели на девочку.

Лизель улыбнулась.

В тот миг, когда улыбка облетела с ее губ, Лизель почувствовала еще что-то. Или, вернее, *кого-то*. Ошибки быть не могло – за ней наблюдали. Чужое внимание опутало Лизель, и подозрение ее подтвердилось, когда девочка набралась храбрости обернуться на тени возле ратуши. В стороне от сборища силуэтов стоял еще один, отодвинутый на несколько метров, и Лизель осознала две вещи.

***** НЕСКОЛЬКО МАЛЕНЬКИХ ФРАГМЕНТОВ *****

ОСОЗНАНИЯ

- 1. Принадлежность тени и**
- 2. Факт, что тень видела все**

Руки тени были в карманах пальто.

У нее были пушистые волосы.

Если бы у нее было лицо, оно бы отражало страдание.

– Gottverdammt, – сказала Лизель себе под нос. – Проклятье!

* * *

– Мы идем?

Только что, в секунды мертвящей опасности, Папа распрощался с Вольфгангом Эделем и был готов вести Лизель домой.

– Идем, – ответила она.

Они двинулись прочь с места преступления, а книга уже по-настоящему и неслабо припекала Лизель. «Пожатие плеч» прижалось к ее ребрам.

Когда они миновали опасные тени у ратуши, книжная воришка поморщилась.

– Что-то не так? – спросил Папа.

– Ничего.

И все несколько вещей очевидно были не так:

Из-за воротника у Лизель поднимался дымок.

Вокруг шеи проступило ожерелье пота.

Книга под форменной блузой въедалась в нее.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

«МОЯ БОРЬБА»

с участием:

**пути домой – сломанной женщины –
борца – хитреца – свойств лета –
арийской лавочницы – храпуны –**

двух ловкачей – и возмездия в форме леденцовой смеси

ПУТЬ ДОМОЙ

«Майн кампф»

Книга, написанная самим фюрером.

Это была третья важная книга, добравшаяся до Лизель Мемингер, хотя этой книги Лизель не крада. Книга эта объявилась на Химмель-штрассе, 33, примерно через час после того, как Лизель, проснувшись от своего непереносимого кошмара, снова погрузилась в сон.

Кто-то может сказать: это чудо, что у Лизель вообще появилась эта книга.

Путешествие этой книги началось, когда Лизель с Папой возвращались домой вечером после костра.

Они прошли где-то полдороги до Химмель-штрассе, и тут Лизель не выдержала. Согнулась пополам и вынула дымящуюся книгу, позволив ей растерянно прыгать из ладони в ладонь.

Когда книга немного остыла, они оба секунду-другую смотрели на нее, ожидая слов.

Папа:

– Ну и что это за чертовщина?

Он протянул руку и сгреб «Пожатие плеч». Никаких объяснений не требовалось. Ясно было, что Лизель стащила книгу из костра. Книга была горячая и сырая, синяя и красная – такая разная, растерянная, – и Ганс Хуберман раскрыл ее. На страницах тридцать восемь и тридцать девять.

– Еще одна?

Лизель потерла бок.

Именно.

Еще одна.

– Похоже, – предположил Папа, – мне больше не придется обменивать самокрутки, а? Ты успеваешь воровать эти книги быстрее, чем я – покупать.

Лизель в сравнении с Папой молчала. Возможно, тут она впервые осознала, что преступление говорит само за себя. Неопровержимо.

Папа рассматривал заглавие, видимо гадая, какого рода опасность могла таить эта книга для умов и душ немецкого народа. Затем вернул книгу Лизель. Что-то случилось.

– Езус, Мария и Йозеф. – Каждое слово усыхало по краям. Откалываясь, придавало вид следующему.

Преступница не могла дальше терпеть:

– Что, Пап? Что такое?

– Ну конечно.

Как и большинство людей, застигнутых озарением, Ганс Хуберман стоял в некоем оцепенении. Следующие слова он либо выкрикнет, либо они так и не выкарабкаются из губ. Или, что вероятнее, станут повторением последнего сказанного лишь парой секунд ранее.

– Ну конечно.

На сей раз голос Папы был вроде кулака, только что грохнувшего по столу.

Ганс Хуберман что-то увидел. Быстро повел глазами от одного конца к другому, как на скачках, только оно было слишком высоко и далеко, и Лизель не разглядела. Она взмолилась:

– Пап, ну ладно тебе, что такое? – Она заволновалась, не расскажет ли Папа про книгу Маме. Как бывает с людьми, в тот миг Лизель занимало только это. – Ты расскажешь?

– А?

– Ты же понял. Расскажешь Маме?

Ганс Хуберман еще смотрел – высокий, далекий.

– О чем?

Лизель подняла книжку:

– Об этом. – И потрясла ею в воздухе, будто пистолетом.

Папа растерялся.

– Зачем?

Лизель терпеть не могла таких вопросов. Они вынуждали ее признавать ужасную правду, изобличать себя как гнусную воровку.

– Потому что я опять украла.

Папа согнулся, подавшись к Лизель, затем выпрямился и положил ладонь ей на макушку. Длинными грубыми пальцами погладил ее по волосам и сказал:

– Конечно нет, Лизель. Я тебя не выдам.

– Тогда что ты сделаешь?

Вот это был вопрос.

Какой великолепный шаг высмотрит в жидком воздухе Химмель-штрассе Ганс Хуберман?

Прежде чем я вам это покажу, думаю, нам стоит бросить взгляд на то, что он видел перед тем, как нашел решение.

***** ОБРАЗЫ, БЫСТРО ПРОШЕДШИЕ ПЕРЕД ПАПОЙ *****

Сначала он видел книги Лизель:

**«Наставление могильщику», «Пес по имени Фауст»,
«На маяке», и нынешнюю – «Пожатие плеч».**

**Потом – кухню и вспыльчивого Ганса-младшего,
кивающего на те книги на кухонном столе,
где Лизель привыкла читать. Ганс говорит:**

– И что за дрянь читает девчонка?

**– Сын повторяет свой вопрос трижды,
после чего предлагает более подходящее чтение.**

– Слушай, Лизель. – Папа приобнял ее и повел дальше. – Это будет наша тайна – вот эта книга. Мы будем читать ее по ночам или в подвале, как остальные, – но ты должна мне кое-что обещать.

– Все, что скажешь, Пап.

Вечер был мягкий и тихий. Все кругом внимало.

– Если я когда-нибудь попрошу тебя сохранить мою тайну, ты никому ее не расскажешь.

– Честное слово.

– Ладно. Теперь пошли быстрее. Если мы хоть чуть-чуть опоздаем, Мама нас убьет, а надо нам это? Книжки-то не сможешь больше красть, представляешь?

Лизель усмехнулась.

Она не знала и еще долго не узнает, что в ближайшие дни ее приемный отец пойдет и выменяет на самокрутки еще одну книгу, только на этот раз – не для Лизель. Он постучал в дверь отделения фашистской партии в Молькинге и для начала спросил о судьбе своего заявления. Когда с ним об этом поговорили, он отдал партийцам свои последние гроши и дюжину самокруток. А взамен получил подержанный экземпляр «Майн кампф».

– Приятного чтения, – сказал ему партийный активист.

– Спасибо, – кивнул Ганс.

Выйдя за дверь, он еще слышал разговор внутри. Один голос звучал особенно четко.

– Его никогда не примут, – сказал этот голос, – даже если он купит сто экземпляров «Майн кампф». – Остальные единодушно одобрили это замечание.

Ганс сжимал книгу в правой руке и думал о почтовых расходах, бестабачном существовании и своей приемной дочери, которая натолкнула его на эту блестящую мысль.

– Спасибо, – повторил он, и случайный прохожий переспросил его, что он сказал.

В своей обычной дружелюбной манере Ганс ответил:

– Ничего, дорогой друг, это я так. Хайль Гитлер! – и зашагал по Мюнхен-штрассе, неся в руке страницы фюрера.

Наверное, в ту минуту он испытывал довольно сложные чувства, ведь идею Гансу Хуберману подала не только Лизель, но и сын. Может, Ганс уже предчувствовал, что больше не увидит его? Вместе с тем он упивался восторгом идеи, еще не осмеливаясь представлять ее сложности, опасности и зловещие нелепости. Пока хватало того, что идея есть. Она была неуязвима. Воплотить ее в реальности – что ж, это совсем, совсем другое дело. Пока же, ладно, пусть Ганс Хуберман порадует.

Мы дадим ему семь месяцев.

А потом на него навалимся.

Ох и как же мы навалимся.

БИБЛИОТЕКА БУРГОМИСТРА

Нет сомнения – что-то огромное и важное надвигалось на Химмель-штрассе, 33, а Лизель этого пока не замечала. Если переиначить избитое человеческое выражение, у нее свой камень лежал на душе:

Она стащила книгу.

И это кое-кто видел.

Книжная воришка отреагировала. Подобающим образом.

Минута за минутой, час за часом не проходила тревога – или, точнее, паранойя. От преступных деяний такое с человеком бывает – особенно с ребенком. Начинаешь представлять всевозможные виды *заловленности*. Вот примеры: Из темных аллей выскакивают человеческие фигуры. В курсе всех твоих грехов за всю жизнь внезапно оказываются учителя. В дверях всякий раз, стоит шелохнуться листу или хлопнуть калитке вдалеке, вырастает полиция.

Конец ознакомительного фрагмента.